

18+

Виктория Пивоварчик

ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ

автор забрал текст

Виктория Пивоварчик

Первая версия

«Издательские решения»

Пивоварчик В.

Первая версия / В. Пивоварчик — «Издательские решения»,

Вы слишком долго называли это свободой, Люция. Красную помаду. Образ. Уход первой. Мужчин, которых можно разгадать раньше, чем они станут опасны. Лекции о Тени, пока ваша собственная сидит в темной комнате и ждет. Вы любите картину «Смерть Сарданапала», потому что узнаете в ней себя: если нельзя удержать мир, его можно сжечь. Но я нашел ту, кем вы были до огня. Старое имя. Первые тексты. Женщину до образа. И теперь вы получите их обратно. С любовью, S.

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	14
Глава 3	22
Глава 4	32
Глава 5	42
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Первая версия

Виктория Пивоварчик

© Виктория Пивоварчик, 2026

ISBN 978-5-0070-5748-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1

Она сидела на узкой музейной скамье в зале Делакруа, лицом к «Смерти Сарданапала» и спиной к потоку посетителей.

Лица почти не было видно — только черная шляпа, линия скул в полутени, красная помада и неподвижные руки на коленях. Она сидела так спокойно, будто пришла сюда не смотреть картину, а дожидаться приговора.

До этого она уже прошла мимо толпы у «Моны Лизы» — слишком много телефонов, локтей, чужого восторга, который давно стал частью экскурсионного маршрута. Потом задержалась у «Плота Медузы»: человеческие тела, отчаяние, надежда, вытянутая рука над морем.

Но по-настоящему остановилась только здесь.

Перед Делакруа.

Перед мужчиной на красном ложе, который не умирал.

Он распоряжался смертью так же лениво, как, вероятно, распоряжался любовью. Его мир рушился, но он не тянулся к нему руками. Не плакал. Не пытался спасти хотя бы одну женщину, одну лошадь, одну собаку, одну чашу из золота. Он лежал так, будто уже принял решение: если я не могу владеть этим завтра, оно не должно пережить меня сегодня.

Люция смотрела на него долго.

Слишком долго для туристки.

Вокруг шуршали куртки. Аудиогиды шептали чужими голосами. Кто-то пытался поймать правильный ракурс для фотографии. Кто-то зевал. Кто-то сказал по-французски: «trop dramatique» — слишком драматично.

Люция едва заметно усмехнулась.

Слишком драматично.

Люди всегда так говорили о чужой катастрофе, если она была написана маслом, окружена золотой рамой и висела на правильной стене.

Сарданапал лежал на красном ложе так, будто вся эта резня была не катастрофой, а последним капризом избалованного бога. Он не спасал мир. Он спасал только одно: ощущение, что мир все еще подчиняется его воле.

Люция знала это чувство.

Не так грубо, конечно. Она никогда не приказывала никого убивать. Она предпочитала более изящные формы разрушения: исчезнуть первой, охладеть первой, сделать вид, что человек ей надоел ровно в ту секунду, когда он становился слишком важным.

Сарданапал сжигал дворец.

Люция просто выходила из комнаты.

Остальное люди дорисовывали сами.

Она улыбнулась краем губ.

В этом и была разница между варварством и вкусом.

Париж должен был быть легким.

Белое вино. Шелковый шарф. Дневные прогулки без маршрута. Витрины с духами. Утренний кофе в маленьких чашках. Женщина в черных очках, которая никому ничего не объясняет.

Но Лувр всегда делал с людьми что-то неприлично точное. Ты приходишь смотреть на искусство, а оно вдруг начинает смотреть в тебя.

На картине женщины умирали красиво.

В этом было что-то почти непристойное: белая кожа, выгнутые шеи, красные ткани, распущенные волосы, бедра, браслеты, страх. Делакруа написал смерть так, будто она пахла

амброй, кровью и тяжелыми восточными маслами. Здесь ужас не отменял желания. Наоборот — делал его гуще.

Люция подумала, что именно это люди и боятся признать.

Иногда темнота не отталкивает.

Иногда она возбуждает.

Не потому, что хочется быть уничтоженной. А потому, что хочется наконец встретить силу, которая не притворяется доброй.

Ее пальцы сжали край скамьи.

Внутри нее давно жила женщина, которую она почти никому не показывала.

Не та, что отвечала на письма вовремя. Не та, что улыбалась в переговорах и умела держать лицо, когда рушились сроки. Не та, что выбирала аккуратные платья, сухое вино и правильные слова.

Другая.

Та, которая хотела не спокойствия, а огня.

Не «здоровых отношений» из мягких чек-листов, где все заранее проговорено и безопасно разложено по полкам, а взгляда, от которого становится опасно дышать.

Не контроля над собой, а момента, где контроль наконец можно отпустить.

Но только рядом с тем, кто не воспользуется этим, чтобы сломать.

Люция усмехнулась почти незаметно.

Вот в этом и была ловушка.

Женщина внутри нее хотела Сарданапала.

Но выжить могла только с тем, кто убьет в себе Сарданапала ради нее.

Она достала из сумки маленький блокнот в черной обложке. На первой странице уже была фраза, написанная утром в кафе:

«Желание — это не всегда любовь. Иногда это древний бог, которому ты слишком долго приносила себя в жертву».

Она перечитала ее и добавила ниже:

«Но хуже желания только жизнь, в которой ты больше ничего не хочешь».

Перо застыло над бумагой.

Она посмотрела на часы.

11:39.

Встреча была назначена на 11:40.

Люция ненавидела ждать. Ожидание слишком легко делало человека уязвимым. Тот, кто ждет, уже признает: появление другого имеет значение.

Поэтому она убрала часы обратно в сумку и снова посмотрела на картину, будто пришла сюда одна.

Хотя это было неправдой.

Она приехала в Париж не ради Лувра.

И не ради лекции, которую должна была читать вечером.

Она приехала из-за буквы.

S.

Он писал ей три месяца.

Не каждый день. Не навязчиво. Не как мужчина, которому нужна женщина. Хуже.

Как человек, который не торопится, потому что и так знает: рано или поздно она ответит.

Первое сообщение пришло после поста, который разлетелся по женским чатам и вызвал очередную волну ненависти.

Пост был короткий:

«Женщину веками учили быть желанной, но наказывали, когда она начинала желать сама».

В комментариях ее называли больной, опасной, гениальной, свободной, пустой, богиней, нарциссичкой, ведьмой.

Люция читала это утром с кофе и сигаретой, сидя на подоконнике в шелковом халате, и лениво улыбалась.

Она любила, когда люди злились.

Злость была честнее восхищения.

Потом пришло сообщение от S:

«Вы слишком часто говорите о свободе для женщины, которая всю жизнь доказывает, что ей никто не нужен».

Она заблокировала его.

Через день он написал с другого адреса:

«Это тоже ответ».

Она должна была заблокировать его снова.

Именно поэтому не заблокировала.

Слишком давно никто не попадал в нее не комплиментом, а ножом.

Он не восхищался ее красотой. Не спрашивал, свободна ли она вечером. Не писал, что давно следит за ее блогем, уважает ее смелость или хочет пригласить на бокал вина.

Он делал хуже.

Он читал ее точно.

Слишком точно.

В ее дерзости он видел не только силу, но и защиту. В ее сексуальности — не только наслаждение, но и способ не подпустить к себе. В ее прямолинейности — не честность, а привычку ударить первой. В ее свободе — не только свободу, но и панический страх оказаться кому-то нужной по-настоящему.

Это было невыносимо.

Потому что Люция сама зарабатывала этим на жизнь.

Формально она была сексологом.

На деле — человеком, к которому приходили, когда мягкая терапия начинала казаться еще одной формой лжи.

Ее кабинет был черным, красным и слишком красивым, чтобы обещать безопасность. На стене висела репродукция «Смерти Сарданапала».

Клиенты часто задерживали на ней взгляд.

— Вас пугает эта картина? — спрашивала Люция.

— Нет, — отвечали почти все.

И тогда она понимала: сейчас начнется правда.

Люди приходили к ней говорить о сексе, но очень быстро оказывалось, что секс был только дверью. За ней прятались власть, стыд, одиночество, месть, голод, детская обида, зависть, страх быть обычным, страх быть выбранным, страх быть брошенным.

Люция умела находить кнопку.

У каждого.

У мужчины, который называл контроль заботой.

У женщины, которая называла отвращение к мужу усталостью.

У любовницы, которая ждала, что чужой брак рухнет просто потому, что ее желание сильнее.

У красивых девушек, которые хотели быть свободными, но выбирали мужчин, рядом с которыми нужно было постоянно заслуживать право дышать.

Люция не утешала.

Она вскрывала.

Иногда человек рассыпался после одного вопроса.

Ее считали жестокой.

Но возвращались.

Потому что правда, если ее достаточно долго избегать, начинает казаться единственным способом выжить.

И вот теперь кто-то делал то же самое с ней.

Вчера она сама написала ему:

«Делакруа. Сарданапал. 11:40».

Он ответил почти сразу:

«Конечно. Вы выбрали картину, где власть притворяется последней формой любви».

Люция перечитывала эту фразу три дня.

Сегодня утром, за пять часов до встречи, она стояла на балконе отеля у Сены с черным кофе в одной руке и сигаретой в другой.

Париж внизу был серым, дорогим и равнодушным. Таким городом, в котором легко поверить, что твоя жизнь наконец стала похожа на кино, если не подходить слишком близко к зеркалу.

В номере на кресле лежало платье.

Черное. Обтягивающее. Слишком честное для дневного музея и слишком скромное для той женщины, которой она умела быть вечерами.

Рядом стояли туфли на тонком каблуке, новые, купленные вчера после бокала сансера и сорока минут разговора с продавщицей о том, почему некоторые женщины выбирают обувь не под одежду, а под настроение хищника.

Люция выбирала не наряд.

Она выбирала, кем сегодня будет.

Сексологом.

Блогером.

Женщиной, которую ненавидят за свободу.

Женщиной, которая слишком хорошо умеет делать больно.

Или девочкой, которая когда-то поняла: если первой не напасть, тебя обязательно попытаются приручить.

Она выбрала черные брюки, белую рубашку, жакет с острыми плечами, красную помаду и очки «кошачий глаз».

Платье оставила на вечер.

Вечером ей предстояла лекция.

Закрытая встреча для коллекционеров, психоаналитиков и богатых людей, которые любили называть свои тайные желания культурным интересом.

Тема звучала красиво:

«Эрос, власть и разрушение: почему желание не всегда хочет близости».

Но это было вечером.

А сейчас было 11:40.

Рядом с ней кто-то остановился.

Не турист.

Туристы не умеют стоять тихо. Турист всегда производит звук: пакет, камера, шаг, кашель, попытка понять, где выход.

Этот человек остановился так, будто пришел не смотреть картину, а проверить, правильно ли она поняла.

Люция не повернула головы.

— Вы тоже думаете, что он не страдает? — спросил мужской голос.

Голос был низкий. Спокойный.

Слишком спокойный.

Она посмотрела на картину еще несколько секунд.

— Нет, — сказала она. — Я думаю, он страдает больше всех.

— Тогда почему выглядит равнодушным?

Люция закрыла блокнот.

— Потому что есть люди, которые не умеют страдать без свидетелей. Им нужно, чтобы вместе с ними горел весь мир.

Мужчина ничего не сказал.

Она наконец повернулась.

Он стоял чуть позади, в темном пальто, с лицом человека, для которого Лувр был не музеем, а местом преступления.

Красивым он не был. Не в том легком смысле, который можно сразу объяснить. В нем было что-то собранное, почти опасно сдержанное. Как закрытая дверь, за которой не пустота, а комната без окон.

Его взгляд опустился на ее блокнот.

— Вы пишете о нем?

— О себе, — сказала Люция.

И сама удивилась честности.

Он улыбнулся одними глазами.

— Тогда это опасная картина.

— Все хорошие картины опасны.

— Нет. Хорошие можно забыть. Опасные — нет.

Она снова посмотрела на Сарданапала.

Красное ложе. Белые тела. Золото. Паника. Власть. Конец.

И вдруг ей стало ясно: она пришла сюда не отдыхать и не спорить об искусстве.

Она пришла туда, где внутри нее что-то давно ждало огня.

— Тогда, кажется, мы оба пришли по адресу, — сказала она.

Он не ответил сразу.

От этого пауза стала почти физической.

Люция не спросила его настоящего имени.

Пока.

Буква S была не именем. Инициалы вообще были трусливой роскошью: достаточно конкретно, чтобы казаться знаком, и достаточно пусто, чтобы ни за что не отвечать.

Но она любила, когда имя появляется позже.

Сначала — походка, пауза, взгляд, запах кожи, способ молчать. Имя слишком быстро делало человека обычным.

А этот мужчина обычным не был.

Хотя, возможно, именно этого и добивался.

Он стоял рядом с ней перед «Смертью Сарданапала» так спокойно, будто не впервые встречался с женщиной, которая пришла в Лувр не смотреть искусство, а проверить, насколько глубоко ее можно ранить.

— Вы часто начинаете разговоры с диагнозов? — спросила она.

— Только когда собеседница сама выбирает картину о человеке, который уничтожает все, чем больше не может обладать.

Люция усмехнулась.

— Вы сейчас пытаетесь меня оскорбить или соблазнить?

— Для вас это разные вещи?

Она повернула к нему лицо.

Красная помада. Светлые глаза. Черная шляпа, отбрасывающая тень на скулы. Улыбка — та самая, из-за которой мужчины начинали говорить слишком много, а женщины потом делали вид, что никогда не хотели ей подражать.

— Осторожнее, — сказала она. — Я хорошо запоминаю людей, которые пытаются быть умнее меня.

— А я — женщин, которые называют страх свободой.

Вот теперь он ее задел.

Не глубоко.

Но точно.

Люция снова посмотрела на картину.

На мужчину, который выглядел не безумцем, а человеком, уставшим от собственного всемогущества.

Она ненавидела эту картину за правду.

И любила за то же самое.

— Вы слишком уверены для человека, который видит меня впервые, — сказала она.

— Я не вижу вас впервые.

— Фотографии не считаются.

— Я не о фотографиях.

Вокруг продолжал жить Лувр. Щелкали камеры. Проходила группа туристов. На другом конце зала женщина в бежевом пальто пыталась объяснить ребенку, почему нельзя трогать музейные стены.

А между Люцией и мужчиной стало тихо.

Очень тихо.

— Вы замолчали, — сказал он.

— Я думаю, стоит ли вам отвечать.

— Нет. Вы думаете, стоит ли уйти первой.

Она медленно повернула к нему голову.

Вот теперь улыбка исчезла.

На секунду в ее лице осталось что-то другое — не блогер, не сексолог, не женщина с красной аурой, не хищница. Что-то более древнее и менее защищенное.

Он увидел это.

И не сделал вид, что не заметил.

Люция могла бы уйти.

Это был ее любимый прием.

Оставить человека в моменте, где он уже начал думать, что что-то произойдет. Не объяснить. Не дать финала. Забрать у него возможность стать важным.

Она делала так с мужчинами.

С женщинами.

С теми, кто любил ее.

С теми, кого почти полюбила сама.

Люция никогда не удерживала людей цепями.

Она делала хуже.

Давала им почувствовать себя избранными.

А потом исчезала.

И называла это свободой.

— Кто вы? — спросила она.

Он посмотрел на нее.

Не победно.

Почти устало.

— Человек, который знает, почему вы ушли с собственной помолвки.
Мир вокруг не изменился.

Лувр не дрогнул.

Никто не обернулся.

Группа туристов двинулась дальше. Камеры продолжали щелкать. Где-то за спиной кто-то рассмеялся.

А у Люции внутри все остановилось.

Помолвка.

Слово, которое она не произносила вслух уже много лет.

В блоге у нее была красивая версия.

Она поняла, что не хочет жить «как все». Сняла кольцо. Заказала шампанское. Выбрала себя.

Подписчицы обожали эту историю.

В ней было все, что они от нее ждали: дерзость, свобода, уход без сожалений.

Но настоящая история была другой.

В тот вечер она ушла не потому, что не любила.

А потому что почти любила.

И это оказалось страшнее.

— Кто вам рассказал? — спросила она.

Голос прозвучал ровно.

Слишком ровно.

Он достал из внутреннего кармана кремовый конверт.

Люция посмотрела на него и сразу поняла: это не приглашение, не записка, не романтическая глупость.

Бумага была слишком плотной.

Слишком официальной.

Слишком хорошо выбранной.

— Сегодня после лекции вас попросят прочитать один текст, — сказал он.

— Какой текст?

— Ваш.

— Я ничего не передавала организаторам.

— Знаю.

— Значит, это кража.

Он протянул ей конверт.

— Нет, Люция. Это возвращение.

Она вздрогнула не от имени.

От того, как он его произнес.

Не как поклонник. Не как любовник. Не как мужчина, который уже мысленно снял с нее одежду.

А как человек, который знал: Люция — это не женщина.

Это дверь.

Очень красивая.

Очень дорогая.

Очень хорошо запертая.

Она не взяла конверт.

— Откуда вы знаете, что нужно возвращать?

Он снова посмотрел на «Смерть Сарданапала».

— Потому что люди не строят такие дворцы без причины.

— Все знают Люцию, — сказала она тихо.

Он улыбнулся.

Не победно.

Печально.

— Именно.

Люция смотрела на конверт.

На его руку.

На спокойное лицо.

На картину, где мужчина на красном ложе уничтожил все, что не мог забрать с собой в завтра.

И впервые за много лет ей стало по-настоящему любопытно не то, кто перед ней.

А что именно он принес обратно.

Она взяла конверт.

Бумага оказалась холодной.

— Если это игра, — сказала она, — вы выбрали не ту женщину.

— Нет, — ответил он. — Именно ту.

Внутри нее что-то дрогнуло.

Не страх.

Пока нет.

Скорее ощущение, что где-то в глубине закрытого дома открыли окно, о котором она давно забыла.

Люция опустила взгляд на кремовый конверт.

На нем не было ни имени, ни печати, ни подписи.

Только одна буква.

S.

Она подняла глаза.

— После лекции? — спросила она.

— После лекции.

— А до?

Он посмотрел на картину.

— До вы еще можете уйти.

Вот теперь Люция улыбнулась.

Медленно.

Почти нежно.

— Вы плохо меня читали, если думаете, что я уйду после предупреждений.

— Нет, — сказал он. — Я рассчитывал именно на это.

И тогда она поняла: пожар начался не сегодня.

Сегодня ей просто показали дым.

Глава 2

Люция вышла из Лувра не сразу.

Сначала она еще несколько минут стояла перед «Смертью Сарданапала», держа кремовый конверт в руке так, будто это была не бумага, а чужой пульс. S ушел первым — не театрально, не растворившись в толпе, не оставив за собой запах дорогого парфюма и недосказанности. Просто чуть склонил голову, как человек, который сказал достаточно, и отошел к выходу из зала.

Это было почти неприлично.

Люция привыкла уходить первой. Ее всегда раздражали люди, которые не цеплялись за финал, умели поставить точку раньше нее и оставляли ее не брошенной, а незавершенной. Она посмотрела ему вслед: темное пальто, прямая спина, никакой спешки. Так уходили не от женщины. Так уходили от шахматной доски после первого хода.

Она медленно опустила взгляд на конверт. На нем по-прежнему была только одна буква — S.

Она могла открыть его прямо сейчас: разорвать плотную бумагу ногтем, достать текст, прочитать, понять, в какую именно часть ее прошлого он сунул руку. Но не открывала. Не из страха — из принципа. Есть вещи, которым нельзя позволять думать, что они имеют над тобой власть. Даже если они уже имеют.

Люция убрала конверт в сумку, застегнула ее, поднялась со скамьи и пошла к выходу. В Лувре было слишком много людей: лиц, спин, голосов, детей, вспышек, карт, маршрутов, чужого восторга. Она шла мимо них почти не замечая. Иногда ей казалось, что музеи существуют не для искусства, а для того, чтобы люди могли безопасно смотреть на смерть, насилие, богов, обнаженные тела и распад — и называть это культурой. За пределами рамы ужас становился преступлением. Внутри рамы — наследием.

На улице Париж встретил ее серым светом и влажным воздухом. Небо висело низко, как тяжелая ткань. Туристы фотографировались на фоне Лувра, кто-то смеялся, кто-то тащил чемодан по неровной плитке, кто-то говорил по телефону слишком громко и слишком счастливо. Люция надела очки. Мир стал темнее. Лучше.

Она пошла в сторону сада Тюильри. Каблуки стучали по камню сухо и уверенно, и этот звук всегда возвращал ей ощущение себя: пока женщина слышит собственные шаги, она еще не распалась. Конверт лежал в сумке у бедра и был тяжелее, чем должен был быть.

Она прошла мимо фонтана, мимо стульев, расставленных так, будто город заранее приготавливал места для всех чужих разочарований. На одном сидела пожилая женщина в бежевом пальто и кормила голубей. На другом мужчина читал газету. Две девушки ели круассаны и рассматривали фотографии на телефоне. Люция смотрела на них и думала, как легко выглядят люди, если не знать, что у них внутри. У каждого — свой дворец, своя комната без окон, свое имя для других и другое, которое страшно произнести даже про себя.

Она дошла до аллеи, где деревья стояли голые, почти графичные. Париж в пасмурный день был не романтичным, а честным: без золотого света, без открытки, без обещания, что с тобой обязательно случится что-то красивое. Люция остановилась, достала сигарету, прикурила. Первый вдох был резким. Хорошо. Резкость возвращала границы.

Она затаилась и наконец позволила себе подумать о том, что сказала ему в Лувре: «Если это игра, вы выбрали не ту женщину».

Какая глупая фраза.

Конечно, ту. Игры всегда выбирали ее. Или она выбирала их первой, чтобы не оказаться фигурой на чужой доске. Она усмехнулась, и сигаретный дым поднялся вверх, растворившись в сером воздухе.

С знал про помолвку. Не просто факт — таких фактов было немного, но они не были полностью невозможны. Кто-то мог рассказать. Кто-то мог вспомнить. Кто-то мог найти старую фотографию, старый пост, старого человека, которому однажды стало слишком скучно молчать. Но он сказал не «вы были помолвлены». Он сказал: «Я знаю, почему вы ушли». И это было другое.

Потому что «почему» не знали даже те, кто стоял рядом в тот вечер. Они думали, что знают. Жених думал: она испугалась брака. Мать думала: она всегда была эгоисткой. Подруги думали: она выбрала свободу. Подписчицы потом думали: она стала символом женщины, которая не предает себя ради кольца. Все версии были удобными. Все версии были ложью.

Люция стряхнула пепел. Настоящая причина была куда менее красива: она ушла, потому что в какой-то момент увидела перед собой не клетку, а дом. И испугалась сильнее, чем если бы это была клетка. Клетку можно ненавидеть. Из клетки можно сбежать красиво. Дом требует другого. В доме нужно оставаться. В доме нужно раздеваться не только телом, но и лицом. В доме нельзя каждый вечер быть легендой.

Она докурила сигарету до середины и резко затушила ее в урне. Хватит. Париж не получит от нее эту сцену.

У нее была онлайн-сессия в 14:00, лекция в 20:30 и конверт, который она не собиралась открывать до тех пор, пока сама не решит, что он достоин быть открытым. Это звучало почти убедительно.

К отелю она вернулась пешком — не потому, что так было удобно, а потому что движение помогало не думать слишком глубоко. Париж проплывал вокруг: витрины, кафе, черные столики на улице, женщины с идеальными шарфами, мужчины с пустыми взглядами, курьеры на велосипедах, запах кофе, дождя и дорогой усталости.

У входа в отель швейцар кивнул ей чуть внимательнее, чем утром. Люция знала этот взгляд. Мужчины часто так смотрели после того, как успевали решить, какой женщиной она является. Они ошибались почти всегда.

В лифте она осталась одна. Зеркальные стены вернули ей отражение: черная шляпа, очки, красная помада, белая рубашка, жакет с острыми плечами. Все было на месте. Она выглядела безупречно, а значит, пока ничего страшного не произошло.

В номере было тихо. Платье по-прежнему лежало на кресле — черное, обтягивающее, слишком похожее на обещание, которое не обязано быть выполнено. Люция сняла шляпу, бросила ее на кровать, поставила сумку на стол и несколько секунд смотрела на нее.

Потом отвернулась.

— Не сегодня, — сказала она вслух.

Собственный голос прозвучал холоднее, чем она ожидала. Она включила кофемашину, достала ноутбук, открыла календарь. Онлайн-сессия через двадцать две минуты. Клиентка — Марина, тридцать семь лет, замужем, двое детей, муж «хороший человек», любовник «катастрофа», запрос: «Я не понимаю, почему меня тянет к тому, кто меня разрушает».

Люция усмехнулась. Вселенная иногда обладала отвратительным чувством юмора.

Она умылась холодной водой, поправила помаду, переоделась в черный шелковый халат и села за стол. В кадре были видны только ее лицо, ключицы, темная ткань и часть книжной полки позади. Она любила онлайн-сессии за эту дистанцию: экран создавал иллюзию безопасности для клиента и иллюзию контроля для нее.

В 14:00 Марина подключилась.

Лицо у нее было бледное, уставшее, красивое той красотой, которую женщины часто начинают прятать после тридцати пяти — не потому, что она исчезает, а потому что становится слишком честной.

— Добрый день, — сказала Люция.

— Добрый.

Марина улыбнулась виновато. Все женщины, которые приходили говорить о желании, сначала улыбались виновато. Даже те, кто называл себя свободными. Даже те, кто зарабатывал больше мужей, командовал отделами, растил детей, закрывал ипотеки и покупал себе бриллианты без разрешения. Стыд был древнее статуса.

— Как вы? — спросила Люция.

Марина выдохнула.

— Плохо.

— Хорошо.

Клиентка моргнула.

— Хорошо?

— Вы ответили честно. Это экономит нам минут пятнадцать.

Марина нервно рассмеялась.

— Я опять с ним встречалась.

— С любовником?

— Да.

— И?

— И опять чувствую себя униженной.

— Он вас унижал?

Марина замялась.

— Нет. То есть... не прямо. Он просто такой. Холодный. С ним никогда не понятно, нужна я ему или нет. Он может быть нежным, а потом исчезнуть. Может смотреть так, будто я единственная женщина в мире, а через час отвечать одним словом. Я понимаю, как это звучит. Мне тридцать семь. Я не девочка. У меня семья. Работа. Я не должна...

— Стоп, — сказала Люция.

Марина замолчала.

— Не надо пока про «должна». Это слово редко помогает добраться до правды. Что вы чувствуете рядом с ним?

— Живой.

Ответ вырвался слишком быстро, и Марина сама испугалась. Люция чуть наклонила голову.

— А рядом с мужем?

— Спокойной.

— Это не ответ на тот же вопрос.

Марина закрыла лицо рукой.

— Рядом с мужем я чувствую себя хорошей.

Люция молчала. В этом месте нельзя было спешить. Иногда человек сам приносил тебе в руки нож, которым нужно разрезать узел. Главное — не выхватить его слишком рано.

— Хорошей женой, хорошей матерью, хорошей женщиной, — сказала Марина. — Он заботится обо мне. Он надежный. Он правда хороший. С ним все правильно.

— А с любовником?

Марина убрала руку от лица.

— С ним я не хорошая.

— Какая?

Клиентка долго молчала, потом сказала почти шепотом:

— Настоящая.

Люция почувствовала, как что-то неприятно точно двинулось внутри нее. Она не показала этого.

— Нет, — сказала она спокойно. — Не настоящая.

Марина подняла глаза.

— А какая?

— Незавершенная.

Клиентка нахмурилась.

— Не понимаю.

— Вы путаете интенсивность с подлинностью. Это частая ошибка. Если рядом с человеком больно, остро, опасно и непредсказуемо, кажется, что вот она — правда. Потому что тело наконец проснулось. Но тело может просыпаться не только от любви. Иногда оно просыпается от угрозы.

Марина слушала очень внимательно.

— То есть я просто травмированная дура?

— Нет, — резко сказала Люция. — И если вы еще раз назовете себя дурой, мы потратим остаток сессии на то, кто научил вас унижать себя раньше, чем это сделает мужчина.

Марина замолчала. Потом кивнула.

— Хорошо.

Люция откинулась на спинку кресла.

— Вы не дура. Вы человек, который много лет складывал свою агрессию, желание, дерзость, сексуальность, право хотеть и право разрушать в темную комнату. А потом встретили мужчину, который живет так, будто эта комната — его спальня.

Марина смотрела на нее почти испуганно.

— И меня поэтому к нему тянет?

— Вас тянет не только к нему. Вас тянет к части себя, которую вы рядом с ним чувствуете.

— Но эта часть ужасная.

— Возможно.

— Она эгоистичная.

— Возможно.

— Она может разрушить мою жизнь.

— Да.

Марина сглотнула.

— Вы должны сказать мне, как от нее избавиться.

Люция почти улыбнулась.

— Нет.

— Почему?

— Потому что от тени не избавляются. Ее либо признают, либо она начинает жить за вас.

Марина молчала. Люция видела, как фраза вошла в нее — не красиво, не мягко, глубоко.

— У Юнга есть идея тени, — сказала Люция. — Это не просто «плохая часть» человека. Это все, что мы вытеснили, потому что решили: таким быть нельзя. Нельзя злиться. Нельзя хотеть. Нельзя завидовать. Нельзя быть жадной. Нельзя быть сексуальной. Нельзя быть жестокой. Нельзя выбирать себя, если из-за этого кто-то страдает.

— Но разве это не правильно? — спросила Марина.

— Быть человеком, который никому никогда не причиняет боли?

— Да.

— Это не правильно. Это невозможно.

Марина опустила глаза.

— Тогда что делать?

— Перестать отдавать свою тень мужчине.

— В смысле?

— Сейчас он для вас не просто любовник. Он носитель вашей непрожитой части. Рядом с ним вы разрешаете себе быть той, кем не можете быть в своей правильной жизни. Он стано-

вится дверью. Поэтому вы терпите холодность, тревогу, унижение. Не потому что он так прекрасен, а потому что за ним стоит ваше собственное изгнанное желание.

Марина долго смотрела в экран.

— Значит, я люблю не его?

— Я не знаю, любите ли вы его. Но точно знаю, что вы используете его как проход туда, куда пока не решаетесь войти одна.

В комнате повисла тишина. Люция слышала, как за окном внизу проехала машина, как где-то в соседнем номере закрылась дверь, как тихо гудит ноутбук.

Марина вдруг заплакала — без красивого надрыва, без театра. Просто слезы пошли по лицу, и она даже не попыталась сразу их стереть.

— Я не хочу разрушать семью, — сказала она.

— Возможно, вам и не нужно разрушать семью.

— Но я не могу больше быть только хорошей.

— Вот это уже ближе к правде.

Марина вытерла щеки.

— А если мой муж не примет меня другой?

Люция помолчала. Это был тот момент, где многие специалисты сказали бы что-то бережное: про диалог, доверие, постепенность, честность. Все это было бы правильным, но не полным.

— Тогда вам придется решить, что для вас страшнее, — сказала Люция. — Быть отвергнутой живой или принятой мертвой.

Марина закрыла глаза. Люция увидела, как эта фраза попала. Иногда она ненавидела себя за точность. Иногда — гордилась. Чаще всего не различала.

Оставшиеся двадцать минут они говорили уже не о любовнике. О злости. О теле. О том, как Марина десять лет была удобной и называла это зрелостью. О том, что желание не всегда просит изменить жизнь прямо сейчас. Иногда оно сначала просит перестать врать.

Когда сессия закончилась, Марина выглядела не счастливее, но реальнее.

— Спасибо, — сказала она. — Мне страшно.

— Это хороший признак.

— Почему?

— Потому что вы наконец подходите к двери, а не целуете замочную скважину.

После звонка Люция закрыла ноутбук и долго сидела неподвижно. В комнате было тихо. За окном серел Париж. На столе остывал кофе. В сумке лежал конверт.

Она сказала Марине: «Перестать отдавать свою тень мужчине». Какая прекрасная фраза. Какая отвратительная.

Люция встала, подошла к зеркалу и посмотрела на себя. Без шляпы она выглядела моложе. Без очков — жестче. Красная помада держалась идеально, как всегда.

— Ты тоже используешь его как дверь? — спросила она отражение.

Отражение не ответило.

Разумный человек после такой встречи открыл бы конверт. Люция была разумной только в тех случаях, когда это не касалось ее самой. Она достала из чемодана папку с материалами к лекции, разложила на столе листы, открыла ноутбук снова и вывела на экран презентацию.

«Эрос, власть и разрушение: почему желание не всегда хочет близости».

Название показалось ей вдруг слишком гладким, слишком безопасным. Как будто она собиралась говорить о чем-то, что можно удержать в академических формулировках, между бокалом шампанского и вопросами из зала.

Она открыла заметки. Первый блок — Эрос как сила притяжения. Второй — власть как протез близости. Третий — разрушение как попытка сохранить контроль над утраченным объ-

ектом. Четвертый — тень желания. Пятый — почему мы хотим не тех, кто нам подходит, а тех, кто возвращает нам изгнанные части нас самих.

Люция перечитала последний пункт. Он показался слишком личным. Значит, его нужно было оставить.

Она взяла ручку и начала писать от руки. Так мысли становились опаснее. Клавиатура делала их деловыми, почти приличными. Бумага позволяла им пачкаться.

«Мы привыкли думать, что желание ведет к близости. Но иногда оно ведет не к другому человеку, а к собственной тени».

Она остановилась.

Юнг был удобен для таких вечеров. Его любили люди с деньгами, травмами и библиотеками, в которых книги стояли больше для портрета души, чем для чтения. Юнг позволял говорить о темном и не выглядеть вульгарно. О сексе — и не быть просто сексуальной. О бездне — и не показаться женщиной, которая слишком долго в нее смотрела.

Но Люция уважала его не за это. Она уважала Юнга за то, что он не пытался сделать человека слишком чистым. Фрейд копал в желание как в подвал. Юнг открывал в нем храм. Не светлый — скорее древний, сырой, полный фигур, которым давно перестали поклоняться, но которые от этого не умерли.

Тень. Персона. Анима. Анимус. Проекция. Индивидуация.

На плохих лекциях эти слова звучали как украшения для умных людей. Люция ненавидела, когда ими прикрывали пустоту. Для нее тень была не термином, а той частью человека, которая стоит за спиной и ждет, когда ты устанешь быть приличным. Персона — маской, которая однажды начинает есть лицо. Проекция — моментом, где ты смотришь на другого и говоришь «это он», потому что еще не способен сказать «это я».

А индивидуация была самым неприятным словом, потому что в нем не было эротики побега. Там не было красивого исчезновения, красной помады, чемодана, такси в ночь и фразы «я выбрала себя». Там было другое: собрать себя обратно. Не только светлую часть. Не только ту, которую можно показать в блоге. Не только женщину, которой аплодируют. А всю. Включая ту, которая хочет власти, завидует, умеет бросать, боится любви сильнее насилия. Ту, которая однажды ушла с собственной помолвки и потом сделала из этого легенду.

Люция резко положила ручку. Слишком близко.

Она встала, подошла к окну и приоткрыла его. В комнату вошел холодный воздух. Люция закурила, хотя в номере нельзя было курить. Она всегда уважала правила, пока они не начинали вести себя так, будто важнее ее настроения.

Дым медленно поплыл к окну. Она подумала о Марине, о ее любовнике, о том, как легко было смотреть на чужую жизнь и видеть структуру. Вот здесь тень. Здесь голод. Здесь проекция. Здесь попытка перепутать тревогу с любовью. Чужая душа иногда лежала перед ней как анатомическая таблица. Своя — как запертая комната, в которой кто-то двигался по ночам.

Она вернулась к столу. В презентации был слайд с репродукцией «Смерти Сарданапала», и она поставила его ближе к началу. Пусть вечер начнется с крови.

Люди будут сидеть в красивом зале, пить шампанское, держать бокалы за тонкие ножки, улыбаться друг другу правильно увлажненными губами и ждать от нее умного разговора о темном. Она даст им темное. Но не такое, которое можно безопасно обсудить после лекции.

Она написала новый первый тезис:

«Желание не всегда хочет обладать. Иногда оно хочет быть поглощенным. Иногда — поглотить. Иногда оно ищет не любовь, а силу, рядом с которой можно наконец перестать притворяться хорошим человеком».

Она перечитала и улыбнулась. Вот теперь лучше.

Телефон завибрировал. На экране высветилось сообщение от организатора:

«Люция, добрый день. Все готово на вечер. После основной части будет короткое художественное чтение — как мы обсуждали с вашим ассистентом. Текст уже у нас. Вам нужно только выйти и прочитать. Это будет сильный финал».

Она смотрела на сообщение несколько секунд. Ассистента у нее не было.

Люция набрала: «С каким ассистентом?» — и остановилась. Потом стерла вопрос. Писать организатору сейчас значило признать, что S уже вошел в вечер раньше нее. А она не признавала чужого входа без приглашения.

Она положила телефон экраном вниз, медленно достала из сумки конверт и положила его на стол рядом с ноутбуком. Не открыла. Просто позволила ему лежать там. Иногда вещь становится слабее, если перестать делать вид, что ее нет.

Она вернулась к лекции. Второй блок — власть. Люция написала: «Власть часто притворяется страстью. Особенно там, где человек не умеет просить любви без унижения». Зачеркнула. Слишком мягко. Написала заново: «Власть — это костыль для тех, кто не выдерживает взаимности».

Да. Это она скажет вслух. Пусть кто-нибудь в зале подавится шампанским.

Она представила этих людей: коллекционеры, психоаналитики, богатые пары, которые приходят на такие вечера не за знаниями, а за утонченным разрешением на свои пороки. Женщины с тонкими запястьями, мужчины с дорогими часами, любовницы, жены, бывшие жены, арт-дилеры, люди, которые умеют произносить слово «травма» так, будто покупают очередной объект в гостиную.

И где-то среди них будет S. Она была уверена. Он не мог не прийти после Лувра, после конверта, после фразы «до вы еще можете уйти». Люция ненавидела, когда ей давали выбор, уже зная, как она поступит.

Она открыла новый лист и написала: «Почему женщина выбирает разрушителя?» Потом ниже: «Потому что разрушитель кажется честнее спасателя».

Она остановилась. Нет, не совсем. Разрушитель не честнее. Он просто не обещает того, что добрый человек обещает слишком легко: безопасность, бережность, принятие, дом.

Дом.

Слово снова встало перед ней, как закрытая дверь.

Она вспомнила тот вечер — не полностью, только кусками. Белое платье не было свадебным, но все почему-то говорили, что она выглядит как невеста. Кольцо было тяжелым и красивым. Он стоял рядом — добрый, умный, слишком живой в своей надежде. У него были теплые руки. Именно это ее и испугало.

Не контроль, не давление, не чужая воля, а теплые руки. С тираном она бы справилась. Тирана можно ненавидеть, провоцировать, соблазнять, бросать, разрушать, вспоминать потом как ошибку, но не как потерю. С хорошим человеком было сложнее. Хороший человек не давал повода сбежать красиво. Он просто стоял рядом и верил, что она останется.

В тот вечер он сказал: «Ты можешь быть любой. Я все равно хочу быть с тобой».

Она услышала не любовь. Она услышала приговор.

Любой.

Значит, без образа тоже. Без игры. Без исчезновений. Без права каждый раз убивать сцену до того, как кто-то увидит ее настоящей.

Она сняла кольцо через сорок минут, через час уехала, через два заказала шампанское в баре отеля. Утром написала пост о свободе. Он стал вирусным.

Так родилась Люция.

И умерло что-то другое.

Она открыла глаза. Рука лежала на конверте. Люция убрала ее, будто обожглась. Нет. Пока нет. Она должна была сначала закончить лекцию. Сначала — сцена, свет, люди, которым

она покажет их собственные тени так, чтобы они еще неделю боялись зеркал. Потом — конверт.

Она работала еще два часа: писала, зачеркивала, меняла местами слайды, вставляла картины, убирала слишком академические формулировки. В какой-то момент лекция перестала быть лекцией и стала почти исповедью, тщательно замаскированной под интеллектуальную жестокость.

Это было ее любимое искусство — сказать правду так, чтобы никто не понял, что ты говоришь о себе.

В 18:10 она закрыла ноутбук. Платье на кресле ждало. Люция подошла к нему и провела пальцами по черной ткани. Вечером ей нужна была не красота. Красота была слишком простой задачей. Ей нужна была броня, которую примут за приглашение.

Она приняла душ, долго стояла под горячей водой, пока кожа не стала розовой. Потом нанесла крем, высушила волосы, сделала макияж медленно и почти ритуально: тон, глаза, скулы, красная помада. Каждое движение возвращало лицо на место. Каждое движение собирало Люцию обратно.

Когда она надела платье, в комнате стало тише. Черная ткань села идеально. Не вульгарно. Хуже — точно.

Она надела тонкие серьги, взяла туфли, застегнула браслет. В зеркале стояла женщина, которую легко было ненавидеть и еще легче — хотеть. Люция посмотрела на свое отражение без улыбки.

— Ну что, — сказала она тихо. — Покажем им тень?

Телефон снова завибрировал. На этот раз сообщение было без номера. Только текст:

«Не делайте из лекции щит. Сегодня он не выдержит».

Люция медленно подняла глаза от экрана к зеркалу. Впервые за день ей стало не страшно. Ей стало зло. Злость была лучше страха. Злость возвращала кровь.

Она взяла конверт со стола и положила его в маленькую черную сумку. Потом ответила:

«Приходите ближе к сцене. Я хочу видеть лицо человека, который так плохо понимает, что такое щит».

Сообщение ушло. Ответ пришел почти сразу:

«Я буду там, где вы начнете говорить правду».

Люция усмехнулась.

— Значит, нигде, — сказала она вслух.

Но рука, закрывающая сумку, дрогнула. Совсем чуть-чуть. Достаточно, чтобы она это заметила.

Через десять минут машина ждала ее у входа в отель. Париж за окном темнел. Вечер включал город постепенно: мокрые мостовые, золотые окна, фары, отражения в Сене, силуэты людей под зонтами. Все становилось глубже, дороже, опаснее.

Люция сидела на заднем сиденье, положив руку на сумку. Внутри лежали помада, телефон, ключ от номера и кремовый конверт с одной буквой — S.

Она думала о Марине, о Сарданапале, о Юнге, о тени, которая не исчезает, если выключить свет. О мужчине, который сказал ей: «до вы еще можете уйти». Как будто она когда-нибудь умела уходить до того, как станет интересно.

Машина свернула к зданию, где должна была пройти лекция. У входа уже стояли люди: красивые, умные, сытые, готовые слушать о бездне, пока бездна не начнет слушать их.

Люция посмотрела на свое отражение в темном стекле машины и улыбнулась.

Сегодня вечером она собиралась говорить о желании.

Но впервые за много лет не была уверена, что сможет соврать убедительно.

Глава 3

Особняк, где проходила лекция, находился на тихой улице недалеко от Сены — слишком тихой для места, где собирались говорить о желании. Снаружи он выглядел почти целомудренно: светлый камень, высокие окна, черная дверь, латунная ручка, две кадки с подстриженными лаврами у входа. Никаких вывесок, никакой афиши, никакого признака, что через полчаса внутри соберутся люди, готовые платить за то, чтобы им красиво объяснили их собственную тьму.

Машина остановилась у тротуара. Люция несколько секунд сидела неподвижно, глядя на отражение входа в темном стекле. В маленькой сумке лежал конверт с буквой S, и она чувствовала его почти физически, как острый предмет, спрятанный слишком близко к коже. Водитель уже вышел открыть ей дверь, но она не торопилась. У нее была привычка перед каждым публичным выходом собирать лицо заново — не поправлять макияж, не проверять платье, а именно собирать выражение, которое не выдаст ничего лишнего.

Когда она вышла, прохладный вечерний воздух скользнул по открытым плечам. У входа стояли несколько гостей: женщина в изумрудном платье, мужчина с серебристыми волосами и молодая пара, которая держалась слишком близко друг к другу, чтобы быть законной. Они обернулись на Люцию почти одновременно. Она узнала этот небольшой сдвиг в воздухе: момент, когда помещение еще не принадлежит тебе, но уже готовится.

Организатор встретила ее в холле. Камилла была тонкой, быстрой женщиной лет сорока с гладко убранными волосами, жемчужными серьгами и лицом человека, который умеет улыбаться так, чтобы одновременно обещать заботу и напоминать о договоре.

— Люция, наконец-то, — сказала она по-английски, слегка коснувшись ее руки. — Вы великолепны. Зал почти полный, публика очень ждет.

— Публика всегда ждет не того, что ей действительно нужно, — ответила Люция.

Камилла рассмеялась чуть громче, чем требовалось. Организаторы часто смеялись над ее фразами заранее, как будто покупали не лекцию, а право быть на стороне опасной женщины. Люция это терпела. В конце концов, каждый зарабатывал как умел.

Холл был освещен мягко, почти интимно. Черно-белая плитка, зеркало в тяжелой раме, лестница с коваными перилами, запах воска, духов и шампанского. Слева из открытых дверей доносился гул голосов: низкий, теплый, благополучный. Так звучали люди, которые привыкли выбирать, какую именно боль считать изысканной.

— У нас небольшое изменение в программе, — сказала Камилла, ведя ее по коридору. — После вашей основной части мы оставляем пять минут на чтение. Это будет очень сильный финал. Ваш ассистент прислал текст, мы уже подготовили копию на пюпитре.

Люция остановилась.

Камилла сделала еще два шага, потом обернулась.

— Что-то не так?

— У меня нет ассистента.

Улыбка на лице Камиллы не исчезла, но стала тоньше. Профессиональнее.

— Возможно, представитель? Мужчина написал от вашего имени, детали совпадали: тема, время, формат, даже ваши технические требования. Он сказал, что вы хотите добавить личный фрагмент в финал. Очень смелый ход, кстати. Для такой аудитории — идеально.

Люция посмотрела на нее так спокойно, что Камилла перестала улыбаться совсем.

— Как он представился?

— Инициалом. S. Я решила, это часть вашей концепции.

Конечно, решила. Люди обожают называть чужое вторжение концепцией, если оно достаточно красиво оформлено.

— Покажите текст, — сказала Люция.

Камилла кивнула и повела ее в маленькую комнату за залом. Там стояли туалетный столик, зеркало с подсветкой, кресло, графин воды, бокал, тарелка с нетронутым виноградом и стопка распечатанных программ. На первой странице золотыми буквами было написано ее имя и название лекции: «Эрос, власть и разрушение: почему желание не всегда хочет близости». Ниже, мелким курсивом, значилось: «Финальное чтение: „Дом, который я не выбрала“».

Люция взяла программу.

Название ударило не сразу. Сначала оно прошло по поверхности сознания как чужая удачная формулировка. Потом смысл провалился глубже, туда, где память не спорит с фактами, а просто узнает.

«Дом, который я не выбрала».

Она никогда не публиковала этот заголовок. Никогда не произносила его на лекциях. Никогда не говорила его даже вслух.

Камилла достала из папки несколько листов.

— Вот копия. Мы поставили на пюпитр такую же, но если хотите, можете посмотреть заранее. Начало очень сильное.

Люция протянула руку и взяла листы. Бумага была обычная, белая, офисная. Не кремовая. Не та, что в конверте. Но первая строка была достаточно знакомой, чтобы в комнате на мгновение стало нечем дышать.

«Я ушла не потому, что выбрала себя. Я ушла, потому что он был добр».

Камилла что-то говорила: про свет, микрофон, тайминг, вопросы из зала. Люция слышала ее как сквозь воду. Перед глазами стояла первая строка. Не опубликованная версия, не легенда, не блестящий пост о свободе, который потом цитировали женщины в разводе, любовницы, студентки, психологини, блогерши и девочки, впервые решившие не отвечать бывшему. Нет. Это был черновик. Самый первый. Написанный утром после той ночи, когда она сняла кольцо, уехала в отель и заказала шампанское не потому, что праздновала, а потому что руки так дрожали, что нужно было занять их чем-то красивым.

Она была уверена, что уничтожила этот текст.

Не архивировала. Не оставляла в заметках. Не отправляла подруге. Не сохранила в черновиках. Она помнила, как переписала его в другую версию, вырезав из него все, что могло пахнуть слабостью. В опубликованном посте осталась женщина, которая выбирает себя. В этом тексте была девочка, которая испугалась, что ее действительно любят.

— Люция? — осторожно позвала Камила.

Она подняла глаза.

— Уберите чтение из программы.

Камилла помедлила.

— Гости уже получили программу.

— Значит, скажете, что финальная часть изменилась.

— Конечно, можно, но... — Камила замялась на долю секунды, и эта доля секунды сказала больше, чем все ее слова. — Просто это заявлено как кульминация. Многие пришли именно из-за личного фрагмента. Вы же понимаете, закрытые вечера живут ощущением исключительности.

Люция медленно положила листы на стол.

— Вы хотите сказать, что публика разочаруется, если я не позволю им посмотреть, как меня вскрывают?

Камилла побледнела.

— Нет, разумеется, я не это имела в виду.

— Именно это. Просто более дорогими словами.

В дверь постучали. Молодой человек в черном костюме заглянул внутрь и сказал по-французски, что до начала пять минут. Камилла благодарно кивнула ему, как человек, которого спасли от слишком честного разговора.

Люция взяла бокал воды и сделала глоток. Вода была холодной, почти безвкусной. Она посмотрела в зеркало. Женщина в черном платье смотрела на нее спокойно, собранно, с красными губами и глазами, в которых не было ни одной просьбы о помощи.

— Я не читаю неизвестные тексты, — сказала она.

— Но это ваш текст, — тихо возразила Камилла.

Люция улыбнулась.

— В этом и проблема.

Камилла ничего не ответила. Возможно, впервые за вечер она начала понимать, что стала частью не концепции, а чужой игры. Люция видела, как у нее внутри быстро двигаются расчеты: контракт, гости, репутация, скандал, деньги, возможность убедить спикера, риск потерять вечер. Люди редко бывают злыми в чистом виде. Чаще они просто пытаются сохранить мероприятие, пока рядом с ними у кого-то рушится жизнь.

— Я могу убрать пюпитр, — сказала Камилла наконец. — Но если вы захотите оставить финал, он будет готов.

Люция посмотрела на листы. Потом на свою сумку, где лежал кремовый конверт. Две версии одной угрозы: одна уже раскрытая, другая все еще запечатанная. S не просто знал ее слабое место. Он знал форму, в которой она его спрятала.

— Оставьте, — сказала она.

Камилла не сразу поняла.

— Чтение?

— Пюпитр. Листы. Все как есть.

— Но вы же сказали...

— Я сказала, что не читаю неизвестные тексты. Теперь текст мне известен.

Камилла смотрела на нее настороженно, но уже с облегчением. Организаторы обожают ясность, даже когда она выглядит как катастрофа.

— Хорошо. Тогда я объявлю вас через минуту.

Камилла задержалась на пороге.

— Сумку можете оставить здесь. Комната закрывается, сюда никто не войдет.

Люция посмотрела на нее, потом на маленькую черную сумку.

— Я не люблю оставлять вещи без присмотра.

— Тогда я поставлю ее у зеркала, рядом с вашим пальто. После выступления сразу заберите.

Люция хотела отказаться, но в зал уже звали, а конверт был всего лишь конвертом. По крайней мере, она почти убедила себя в этом.

Когда дверь закрылась, Люция осталась одна. Она взяла листы и быстро пролистала их. Почерк был не ее — текст был напечатан, но фразы принадлежали ей. Неприятно узнаваемые, сырые, слишком живые. «Он предложил мне не клетку, а дом, и я поняла, что клетку легче ненавидеть». «Я так долго строила женщину, которую невозможно оставить, что не знала, что делать с мужчиной, который не собирался уходить». «Он сказал: „Ты можешь быть любой“, а я услышала: „Теперь тебе негде прятаться“».

Люция сжала листы так, что бумага чуть смялась.

Внизу последней страницы была добавлена строка, которой в ее тексте не было.

«Вы не ушли от него. Вы ушли от той, которой могли стать рядом с ним».

Она сразу поняла: это написал S.

Не ее фраза. Слишком точная, но не ее. Ее фразы всегда оставляли себе выход. Эта — закрывала дверь.

Из зала донеслись аплодисменты. Камилла представляла ее. Голос организатора звучал тепло и уверенно, как будто ничего не происходило. Как будто Люция сейчас выйдет к людям, прочтет лекцию, соберет восхищенные взгляды, ответит на вопросы, выпьет бокал шампанского и уедет в отель, где сможет наконец решить, кем ей быть.

Она положила листы обратно на стол, взяла сумку и достала кремовый конверт. Несколько секунд держала его в руках. Потом надорвала край.

Внутри был не текст. Только маленькая карточка из плотной бумаги.

На ней было написано:

«Сначала сцена. Потом правда».

Люция тихо рассмеялась.

Смех получился почти настоящим.

— Как самоуверенно, — сказала она пустой комнате.

Она положила карточку обратно в конверт, конверт — в сумку, а сумку оставила у зеркала, рядом с пальто. Если S хотел, чтобы она думала о бумаге весь вечер, он плохо знал женщин, которые умеют превращать угрозу в аксессуар.

И вышла в зал.

Зал был красивым. Не большим — человек на сто двадцать, может быть, чуть больше. Высокий потолок с лепниной, темные деревянные панели, старинные бра на стенах, современный экран в глубине сцены, ряды стульев, расставленные слишком ровно для разговора о хаосе. На боковом столе стояли бокалы шампанского, минеральная вода, маленькие тарелки с чем-то минималистичным и бессмысленным. Люди обернулись к ней почти одновременно, и на мгновение Люция почувствовала, как зал делает вдох.

Это всегда было ее любимой частью.

Еще не слова. Еще не смысл. Только вход.

Женщина появляется, и каждый в комнате мгновенно решает, кто она для него: угроза, фантазия, раздражение, пример, соперница, обещание, зеркало. Люция умела выдерживать эту первую волну. Более того, она умела ее использовать. Она шла к сцене медленно, без высокомерия, но и без попытки понравиться. Высокомерие было слишком дешевым приемом. Ей больше нравилась точность.

На сцене стояли кресло, небольшой столик с водой, микрофон и пюпитр с листами. Белая бумага казалась слишком яркой в мягком свете. Люция не посмотрела на нее. Пока.

Она вышла к центру, дождалась, пока аплодисменты стихнут, и улыбнулась залу.

— Добрый вечер.

Голос прозвучал ровно. Ни одной трещины. Тело помнило свою работу лучше, чем душа.

— Сегодня мы будем говорить о желании. Не о том желании, которое продают в рекламе духов, не о том, которое красиво смотрится в кино, и не о том, которое принято обсуждать на первых свиданиях после второго бокала. Меня интересует другое желание — то, которое не спрашивает, удобно ли ему появиться, не заботится о нашей репутации и очень плохо реагирует на попытки сделать вид, что его не существует.

В зале стало тише. Люди любили, когда им обещали опасность с хорошей дикцией.

На экране появилась «Смерть Сарданапала». Красное ложе, тела, золото, хаос, неподвижный мужчина в центре собственного конца. Несколько человек в зале слегка подались вперед. Люция заметила женщину лет пятидесяти в черном бархатном жакете, которая сразу скрестила руки на груди. Мужчину с седой бородой, который смотрел не на картину, а на Люцию. Молодую девушку у прохода, слишком серьезную для человека, который пришел просто послушать лекцию. S она не видела.

Это раздражало.

— Делакруа написал не просто сцену гибели, — сказала она. — Он написал фантазию о власти, которая не выдержала будущего. Сарданапал не пытается спасти то, что любит. Он

уничтожает то, чем больше не может обладать. Это очень важная разница. Любовь говорит: я не могу тебя удержать, но ты существуешь отдельно от меня. Власть говорит: если ты не моя, тебя не должно быть.

Кто-то в первом ряду опустил глаза. Кто-то, наоборот, улыбнулся. Люция продолжила:

— Мы привыкли думать, что разрушение — противоположность любви. Иногда да. Но чаще разрушение — это любовь, не пережившая собственного бессилия. Это желание, которое не смогло стать близостью и поэтому стало контролем.

Она говорила спокойно, почти мягко. Чем страшнее была мысль, тем мягче должен быть голос. Люди лучше глотают яд, если не чувствуют металлического привкуса сразу.

На следующем слайде были не картины, а слова: «Эрос. Власть. Тень». Люция сделала паузу, но не театральную — рабочую, чтобы зал успел перейти от изображения к мысли.

— В античной традиции Эрос — не просто милый мальчик с крыльями, который помогает людям влюбляться. Эрос — сила, которая соединяет и нарушает границы. Он не всегда бережен. Он не всегда разумен. Он приходит туда, где человек построил аккуратный порядок, и спрашивает: а что ты спрятал под ним?

Она увидела, как несколько человек улыбнулись: им нравилось узнавать себя, пока это еще было достаточно красиво.

— Проблема в том, что современный человек хочет желания без риска. Мы хотим страсти, которая не поставит под угрозу нашу идентичность. Хотим быть увиденными, но не разоблаченными. Хотим силы, рядом с которой можно дрожать, но не хотим признать, что иногда дрожим не от любви, а от собственной вытесненной жизни.

Вот теперь зал стал по-настоящему внимательным.

Люция поймала себя на том, что говорит не им. Или не только им. Где-то в глубине зала, в слепой зоне света, должен был быть S. Она знала это так же точно, как знала, что он не сядет в первый ряд. Мужчина вроде него не стал бы занимать очевидное место. Он был из тех, кто предпочитает видеть сцену целиком и оставлять человеку иллюзию, что его нет.

— Юнг называл тенью те части личности, которые мы не признаем своими, — сказала Люция. — Не только злость, жестокость, зависть или сексуальность. Иногда в тени оказывается сила. Иногда нежность. Иногда право хотеть. Иногда способность быть счастливым без того, чтобы немедленно разрушить это счастье.

Последняя фраза вышла раньше, чем она успела ее остановить.

Внутри что-то дрогнуло.

Снаружи ничего не изменилось.

— Чем сильнее человек отказывается видеть свою тень, тем с большей вероятностью он встретит ее снаружи, — продолжила она. — В любовнике, который кажется опасным. В женщине, которая кажется слишком свободной. В мужчине, который кажется тираном. В партнере, которого хочется и ненавидеть, и спасать, и подчинить, и отдать ему власть. Мы называем это роковой страстью, но часто это просто встреча с тем, что мы годами изгнали из себя.

Она перешла по сцене к столу, взяла бокал воды, сделала глоток и наконец увидела его.

S стоял не в зале.

Не среди гостей.

Он стоял в боковой галерее второго уровня, за перилами, почти в тени. Темное пальто он снял, теперь на нем был черный костюм и белая рубашка без галстука. Он смотрел на нее не так, как смотрят на женщину на сцене. Не с желанием, не с восхищением, не с превосходством. Скорее с вниманием врача, который ждет, когда пациент перестанет описывать симптомы и наконец назовет боль.

Люция не сбилась.

Наоборот, улыбнулась чуть теплее.

— Власть, — сказала она, возвращаясь в центр сцены, — это часто костыль для тех, кто не выдерживает взаимности.

Эта фраза попала в зал иначе, чем остальные. Кто-то тихо хмыкнул. Камилла, стоявшая у стены, напряглась. Люция почувствовала, как воздух стал гуще.

— Власть проще близости. Во власти не нужно просить. Не нужно ждать ответа. Не нужно признавать, что другой человек свободен хотеть не вас, не сегодня, не так, не всегда. Власть создает иллюзию безопасности: если я контролирую, меня не бросят. Если я уничтожу первым, меня не уничтожат. Если я уйду первой, меня не оставят.

Она сама услышала последнюю фразу.

И S наверху тоже.

На его лице ничего не изменилось. Это разозлило сильнее, чем если бы он улыбнулся.

Люция продолжала почти час. Она говорила о том, почему желание редко бывает моральным; о том, что сексуальность часто становится языком для тех чувств, которые человек не умеет произнести иначе; о парах, где один хочет близости, а другой — подтверждения власти; о женщинах, которые называют скукой безопасность, потому что безопасность не дает им привычного вкуса тревоги; о мужчинах, которые путают обладание с любовью, потому что не знают другого способа не чувствовать себя брошенными.

Она ни разу не посмотрела на пюпитр.

Белые листы лежали сбоку, как доказательство, которое еще не предъявили суду.

К концу основной части зал был уже не просто внимателен. Он был захвачен и раздражен одновременно. Это была лучшая форма слушания: когда человек еще не готов согласиться, но уже не может делать вид, что не услышал.

— И последнее, прежде чем мы перейдем к вопросам, — сказала Люция. — Самая большая ошибка — думать, что тень нужно победить. Нет. Побежденная тень просто меняет дверь. Она входит через симптом, через выбор партнера, через зависть, через болезнь, через внезапную жестокость, через фразу, сказанную любимому человеку так точно, что ее уже невозможно забрать. Тень не требует поклонения. Она требует признания. И иногда весь ужас желания в том, что оно показывает нам не другого человека, а нас самих без приличного освещения.

Она замолчала.

Зал тоже.

Потом начались аплодисменты. Сначала осторожные, как будто люди не были уверены, можно ли хлопать после того, как их только что разобрали на части. Затем громче. Люция стояла в центре сцены, улыбалась и чувствовала, как привычное тепло власти возвращается к ней. Вот оно. Знакомое. Надежное. Сцена не предавала. Зал можно было держать, если знать, куда положить голос, где сделать паузу, кому подарить взгляд, кого проигнорировать.

А потом она снова посмотрела наверх.

S аплодировал тоже.

Медленно.

Не громко.

И это почему-то стерло половину удовольствия.

Камилла вышла к сцене, поблагодарила ее и объявила вопросы. Первой руку подняла женщина в бархатном жакете.

— Вы говорите о тени так, будто она почти священна, — сказала она. — Но разве это не опасная романтизация? Многие люди причиняют боль другим именно потому, что считают свои темные импульсы чем-то глубоким.

Люция кивнула.

— Отличный вопрос. Признать тень — не значит дать ей ключи от дома. Это значит перестать делать вид, что дома никого нет. Романтизация тьмы так же инфантильна, как и

отрицание тьмы. Человек, который говорит «я такой, принимайте меня», обычно не интегрирует тень, а просто снимает с себя ответственность за последствия.

Женщина в жакете кивнула медленно, нехотя удовлетворенная.

Вторым был мужчина с седой бородой.

— Вы сказали, что власть не выдерживает взаимности. Но разве в желании всегда нет элемента власти? Даже когда мы хотим быть желанными, мы хотим влиять на другого.

— Конечно, — сказала Люция. — В желании всегда есть власть, потому что желание делает другого значимым. Вопрос не в том, есть ли власть, а в том, что мы делаем, когда она появляется. Можно использовать власть, чтобы приблизиться. А можно — чтобы не подпустить.

Мужчина улыбнулся так, будто получил ответ, который пригодится ему не только теоретически.

Третий вопрос задала молодая девушка у прохода.

— А если человек понимает, что его тянет не к любви, а к разрушению? Что тогда?

Люция посмотрела на нее внимательнее. Девушка была очень молодой, возможно, двадцать два, двадцать три. Черное платье, влажные глаза, пальцы сцеплены так крепко, что костяшки побелели.

— Тогда лучше всего не спешить называть это любовью, — сказала Люция мягче, чем собиралась. — Разрушение тоже может быть соблазнительным. Особенно если внутри давно есть что-то, что не хочет продолжать прежнюю жизнь. Но человек, который хочет разрушения, часто ошибается в объекте. Ему кажется, что нужно разрушить отношения, брак, карьеру, тело, другого человека. А иногда нужно разрушить только ложь, на которой все это держалось.

Девушка опустила глаза. В зале кто-то перестал дышать слишком заметно.

— Но если разрушить ложь, можно потерять все, — сказала она.

— Можно, — ответила Люция. — Но если оставить ложь, вы тоже потеряете все. Просто медленнее и без свидетелей.

Вопросы продолжались. Люция отвечала легко, точно, почти безжалостно. Чем ближе вечер подходил к финалу, тем сильнее она чувствовала странное раздвоение: одна часть ее наслаждалась властью над залом, другая все время держала взглядом белые листы на пюпитре. Они лежали спокойно. Терпеливо. Как будто знали, что их время все равно придет.

Когда Камилла снова вышла на сцену, Люция поняла: сейчас.

— Спасибо, — сказала организатор. — Это было невероятно. И, как обещано в программе, у нас будет небольшой финальный фрагмент. Люция прочтет личный текст, который, как мне кажется, станет очень точной точкой сегодняшнего разговора.

Аплодисменты были короткими, ожидающими.

Люция не двинулась.

На секунду — всего на секунду — у нее была возможность отказаться. Сказать, что программа изменилась. Что чтения не будет. Что личное не продается вместе с билетами на закрытый салон. Она могла сделать это красиво, даже эффектно. Зал бы принял. Возможно, даже восхитился бы ее границей.

Но наверху стоял S.

И если она откажется, он будет знать: текст сильнее ее.

Люция подошла к пюпитру.

В зале стало совсем тихо.

Она взяла листы. Бумага чуть шуршала в пальцах. Первая строка снова поднялась к глазам, как приговор.

«Я ушла не потому, что выбрала себя. Я ушла, потому что он был добр».

Люция могла прочитать ее. Могла превратить свою слабость в представление. Могла сделать то, что делала всегда: взять боль, поставить на нее свет, подобрать правильную интонацию — и заставить людей восхищаться тем, что вообще-то должно было остаться без свидетелей.

Она подняла глаза на зал.

Люди ждали.

Красивые, умные, сытые. Готовые слушать о бездне, пока бездна не начнет слушать их.

S смотрел сверху.

Не подталкивал. Не улыбался. Просто был.

И в этом было самое невыносимое.

Люция вдруг поняла: он не хотел, чтобы она прочитала текст. Не в прямом смысле. Чтение было не целью, а ловушкой. Если она прочтет — превратит правду в очередную сцену. Если откажется — спрячется за контроль. В обоих случаях он получит ответ.

Она медленно положила листы обратно на пюпитр.

По залу прошла едва заметная волна.

Камилла напряглась у стены.

Люция взяла микрофон.

— Этот текст действительно мой, — сказала она. — Но я не буду его читать.

Тишина стала другой. Осторожной.

— Не потому, что он слишком личный. Личное я умею продавать лучше многих. И не потому, что мне стыдно. Стыд тоже можно очень красиво оформить, особенно если в зале хорошее освещение.

В нескольких местах послышался нервный смех. Люция не улыбнулась.

— Я не буду его читать, потому что он был написан женщиной, которая еще не знала, что однажды сделает из своей трусости легенду о свободе.

Воздух в зале изменился.

Вот теперь она сказала правду.

Не всю.

Но достаточно.

Она не смотрела на S. Если бы посмотрела, это стало бы адресованным ему. А она хотела, чтобы впервые за вечер это принадлежало ей.

— Много лет назад я ушла от человека, который хотел на мне жениться, — сказала Люция. — Публичная версия этой истории вам, возможно, знакома. В ней была женщина, которая сняла кольцо, выбрала себя и отказалась жить по чужому сценарию. Эта версия красива. Она удобна. Она хорошо цитируется. И она не является ложью полностью. В этом ее опасность.

Она сделала паузу и положила ладонь на листы.

— Настоящая история менее элегантна. Я ушла не потому, что он был плох. Не потому, что хотел меня сломать. Не потому, что брак был клеткой. Я ушла потому, что он предложил мне дом. А я не знала, как оставаться там, где меня не нужно завоевывать каждый день.

В зале никто не двигался.

Люция чувствовала, как каждая фраза снимает с нее кожу тонким, почти невидимым слоем. Это было не похоже на обычное выступление. Не было привычного контроля над эффектом. Она не знала, как именно это звучит. Не знала, что видят люди. Не знала, станет ли это красивым. И именно поэтому впервые за вечер слова не казались оружием.

— Мне было легче быть женщиной, которую невозможно удержать, чем женщиной, которую можно любить, — сказала она. — Легче быть свободной в глазах других, чем признать, что иногда свобода — это не крылья, а хорошо украшенная дверь, за которой ты сидишь одна и называешь это выбором.

Кто-то в третьем ряду тихо вдохнул.

Люция продолжила:

— Я не говорю это как исповедь. Исповедь предполагает желание быть прощенной. Я не уверена, что хочу прощения. Я говорю это потому, что сегодняшняя тема — желание, власть и разрушение — будет ложной, если я оставлю себя за ее пределами. Самая удобная власть — это власть над собственной историей. Вы берете то, что с вами произошло, редактируете, удаляете слабые места, добавляете правильный свет, публикуете — и люди называют это силой. Но иногда сила начинается там, где вы наконец перестаете улучшать правду.

Она замолчала.

Зал молчал вместе с ней.

И в этом молчании было больше опасности, чем в аплодисментах.

Люция опустила взгляд на листы, взяла первую страницу и разорвала ее пополам. Бумага треснула громче, чем ожидалось. Камилла у стены побледнела. Несколько человек в зале вздрогнули. Люция разорвала вторую страницу, потом третью. Не торопясь. Без истерики. Без театра. Просто уничтожая текст, который когда-то был ее болью, потом стал чужим инструментом, а теперь перестал быть нужным.

Обрывки она положила на пюпитр.

— Вот теперь финал, — сказала она.

Секунду никто не понимал, можно ли хлопать.

Потом молодая девушка у прохода начала первой. За ней — женщина в бархатном жакете. Потом остальные. Аплодисменты поднялись неровно, странно, не празднично. В них было не восхищение, а что-то более тяжелое: признание, неудобство, почти благодарность.

Люция стояла на сцене и не улыбалась.

Она наконец посмотрела вверх.

С больше не было в галерее.

Его место пустовало.

И это почему-то ударило сильнее, чем если бы он остался.

После выступления к ней подходили люди. Слишком много людей. Женщины благодарили ее тихо и слишком лично. Мужчины говорили умные фразы, чтобы не сказать ничего настоящего. Камилла почти плакала от облегчения и шептала, что это было «гениально», «неожиданно», «абсолютно в духе вечера». Люция кивала, принимала комплименты, отвечала ровно, позволяла касаться своей руки, выдерживала взгляды. Камилла вернула ей сумку почти сразу — незаметно, между поздравлениями, бокалами и чужими восторженными лицами. Люция взяла ее машинально.

Она больше не чувствовала победы.

Это было новое и неприятное ощущение.

Обычно после хорошего выступления она становилась выше, холоднее, собраннее. Сцена возвращала ей власть, публика подтверждала образ, аплодисменты закрывали все лишнее. Сегодня аплодисменты ничего не закрыли. Наоборот, они будто открыли дверь, которую она сама же перед всеми распахнула, а теперь не знала, как запереть обратно.

Когда последний гость отошел, она взяла бокал шампанского с подноса и сделала несколько глотков подряд. Камилла что-то говорила про ужин для избранных гостей, про приглашение от коллекционера, про женщину из издательства, которая хочет обсудить книгу. Люция слушала и не слушала. Ей нужно было выйти. Из зала, из света, из чужих глаз.

— Простите, — сказала она. — Мне нужно пять минут.

Она прошла через боковую дверь в коридор, потом дальше, почти наугад, пока не оказалась в небольшой библиотеке. Там было темно, только настольная лампа горела у окна. Стены занимали книжные шкафы, в воздухе пахло деревом, пылью и старой бумагой. Люция закрыла за собой дверь и впервые за вечер позволила плечам опуститься.

На столе лежал кремовый конверт.

Такой же.

Или почти такой же.

Она замерла.

Ее сумка была при ней. Конверт, который она забрала из отеля, должен был лежать внутри. Люция медленно открыла сумку. Помада, телефон, ключ от номера. Конверта не было.

На этот раз на лицевой стороне была не буква S.

Там было написано ее имя.

Не «Люция».

Другое.

То, которое она не слышала уже много лет.

Она не сразу взяла конверт. Сначала просто смотрела на него, и вся ее сегодняшняя смелость, вся сцена, весь зал, все слова о тени и правде вдруг стали тонкими, как стекло.

Потому что S знал не только легенду.

Он знал, кем она была до нее.

На обратной стороне конверта была короткая фраза:

«Теперь можно начинать».

Глава 4

Люция смотрела на конверт так долго, что лампа на столе начала казаться единственным живым существом в комнате.

На плотной кремовой бумаге было написано не «Люция». Не та женщина, которую знали в зале, не та, которую цитировали в постах, обсуждали в закрытых чатах, приглашали на лекции и боялись любить слишком очевидно. На конверте стояло другое имя — ровное, простое, почти забытое.

Елена.

Она не слышала его так давно, что сначала даже не почувствовала боли. Только странное замедление внутри, как перед ударом, который тело уже предвидит, но разум еще пытается отменить. Люция была именем, которое она выбрала сама. Елена — именем, которое досталось ей до того, как она научилась выбирать.

Она протянула руку, но не взяла конверт сразу. В этом промедлении было больше страха, чем ей хотелось бы признать. Перед залом, перед сотней чужих глаз, перед людьми с бокалами шампанского она могла сказать почти все. Могла признать, что превратила трусость в легенду о свободе. Могла разорвать текст на сцене и заставить публику аплодировать не ее силе, а ее ране. Но здесь, в маленькой библиотеке, где пахло деревом, пылью и старой бумагой, все было иначе. Здесь никто не смотрел. Никто не восхищался. Никто не помогал превращать слабость в форму.

Здесь правда не была сценой.

Она наконец взяла конверт. Бумага оказалась теплой — или это у нее были слишком холодные пальцы. Люция перевернула его, провела ногтем под клапаном и открыла аккуратно, без рывка. Внутри лежала не записка. Не письмо. Не объяснение. Только старая фотография и тонкий лист, сложенный пополам.

Сначала она взяла фотографию.

На ней была она сама — младше, мягче, с лицом, которое еще не научилось быть оружием. Волосы собраны небрежно, губы почти без помады, на пальце кольцо. Рядом стоял мужчина. Не красивый в том смысле, в каком красота сразу требует внимания, но живой, открытый, с теплой улыбкой и рукой на ее талии. Его пальцы лежали на ней спокойно, без присвоения, без демонстрации права. Так прикасаются не к вещи и не к добыче. Так прикасаются к человеку, рядом с которым собираются остаться.

Люция медленно опустилась в кресло.

Фотография была сделана в тот вечер. За час до того, как она сняла кольцо.

Она помнила это платье. Молочно-белое, с открытой спиной. Не свадебное, но все тогда шутили, что она выглядит так, будто уже сказала «да» не только ему, но и всей жизни, которая к этому «да» прилагалась. Она помнила его рубашку, немного расстегнутую у ворота, и то, как он засмеялся, когда кто-то попросил их посмотреть друг на друга, а не в камеру. Она помнила, что в тот момент почти поверила: можно. Можно не держать лицо. Можно не продумывать выход. Можно не быть самой сильной женщиной в комнате.

Именно это ее и уничтожило.

На обороте фотографии была надпись его почерком:

«Лена. За час до того, как ты решила, что любовь опаснее одиночества».

Люция закрыла глаза.

Артем.

Она не произносила его имя вслух много лет. В первые месяцы после ухода — потому что любое произнесение было почти прикосновением. Потом — потому что имя стало частью комнаты, которую она заперла. Позже — потому что Люция уже не могла позволить себе про-

шное с мужским именем внутри. У ее легенды должен был быть абстрактный жених: символ, сценарий, кольцо, общественное ожидание, клетка. Конкретный человек портил миф. У конкретного человека были глаза, голос, руки, любимая музыка, смешная привычка долго выбирать фрукты в магазине и способность молчать рядом с ней так, что она не чувствовала необходимости быть интересной.

Она открыла глаза и взяла сложенный лист.

Бумага была тонкой, слегка пожелтевшей. Не распечатка. Оригинал. Ее собственный почерк. Быстрый, неровный, слишком крупный в тех местах, где рука дрожала.

«Я ушла не потому, что выбрала себя. Я ушла, потому что он был добр».

Люция не стала читать дальше. Она уже знала текст. Знала не словами — телом. Этот лист когда-то лежал перед ней в отеле, рядом с почти нетронутым шампанским и пепельницей, полной сигарет. Тогда она писала не для блога, не для женщин, не для будущей Люции. Она писала, потому что иначе пришлось бы позвонить ему. А звонить было нельзя. Если бы она услышала его голос, она могла бы вернуться.

Она не могла позволить себе вернуться к человеку, который видел ее до образа и все равно хотел остаться.

Дверь библиотеки открылась без стука.

Люция не подняла головы сразу. Она уже знала, кто вошел. Люди вроде S не спрашивали разрешения войти туда, где уже успели расставить предметы.

— Это не ваше, — сказала она.

— Нет, — ответил он. — Но теперь у вас.

Его голос прозвучал ближе, чем в зале, ниже, почти без той холодной дистанции, с которой он говорил в Лувре. Люция медленно положила лист на стол, но фотографию из руки не выпустила.

— Вы украли это?

— Нет.

— Тогда кто вам дал?

Он не ответил сразу. В библиотеке было тихо, только за дверью глухо шумел вечер: голоса, шаги, звон бокалов, чужая жизнь, которая не знала, что в соседней комнате кто-то вскрывает старую могилу.

S стоял у двери. Без пальто, в черном костюме, с лицом человека, который пришел не утешать и не извиняться. Это злило сильнее всего. Люция могла бы выдержать торжество, жестокость, даже желание. Но не это спокойное, почти печальное внимание, в котором не было ни просьбы, ни победы.

— Артем? — спросила она.

На его лице впервые что-то изменилось. Не удивление. Скорее признание, что игра перешла на следующий уровень.

— Значит, вы все еще помните его имя.

Люция поднялась.

— Не играйте со мной в терапевта. Я не ваша клиентка.

— Нет. Клиентки обычно честнее.

Она улыбнулась. Медленно, опасно. Это была та улыбка, которую она доставала, когда хотела, чтобы человек почувствовал: еще шаг — и боль станет точной.

— Скажите мне, кто вы, пока я не решила, что вы просто жалкий мужчина с хорошим доступом к чужим архивам.

— Вы уже решили, что я не жалкий. Иначе не остались бы.

— Я осталась, потому что вы принесли вещь, которая мне принадлежит.

— Она принадлежала Елене.

Имя прозвучало между ними слишком громко.

Люция почувствовала, как лицо хочет дернуться, и не позволила ему. Внутри, однако, что-то сжалось. Люцией можно было управлять: она знала ее жесты, интонации, защитные реакции, правильные углы света. Елена была хуже. Елена не имела стиля. Елена плакала в ваннных комнатах, писала черновики на тонкой бумаге, боялась доброты, хотела любви и не знала, как не умереть от этого желания.

— Не произносите это имя, — сказала она.

— Почему?

— Потому что оно не ваше.

— А Люция — ваша?

Она могла бы ответить быстро. Могла бы сказать: да, моя, потому что я ее создала. Могла бы бросить что-то красивое о том, что женщина имеет право на имя, которое выбирает сама. Это было бы правдой. Почти. Но после сцены, после разорванного текста, после фотографии в руке любая блестящая фраза казалась слишком дешевой.

— Кто дал вам фотографию? — повторила она.

S прошел в комнату и остановился у противоположного края стола. Он не приближался слишком сильно. Это было умно. Или осторожно. В любом случае раздражало.

— Не Артем.

Люция молчала.

— Но человек, который был там в тот вечер.

Она перебрала лица. Мать. Подруги. Его друзья. Ее тогдашняя редакторка. Фотограф. Сестра Артема. Кто-то из гостей. Вечер был полон людей, которые потом исчезли из ее жизни, как статисты после закрытия сцены. Она вырезала их всех вместе с той версией себя, которую они видели.

— Кто? — спросила она.

— Его сестра.

Люция нахмурилась.

— Нина?

S кивнул.

Имя Нины она помнила иначе, чем имя Артема. Без боли, но с неприятным уколом. Нина была младше его на пять лет, резкая, умная, с подростковой прямоотой, которая не исчезла даже во взрослом возрасте. В тот вечер она первая поняла, что что-то не так. Не мать, не подруги, не Артем. Нина. Она подошла к Люции в коридоре, когда та стояла у окна и пыталась дышать, и спросила: «Ты сейчас его бросишь, да?» Не обвиняюще. Почти спокойно. Как человек, который уже увидел финал.

Люция тогда ответила: «Не драматизируй».

Через двадцать минут сняла кольцо.

— Она хранила это? — спросила Люция.

— Да.

— Зачем?

— Возможно, потому что в отличие от вас не считала, что прошлое исчезает, если его красиво переписать.

Люция положила фотографию на стол.

— Вы говорите как человек, которому очень хочется получить по лицу.

— Вы бьете людей только там, где не можете ответить.

Она почти рассмеялась. Почти. В другой ситуации эта фраза могла бы ее развлечь. Сейчас она только подтвердила: он пришел подготовленным. Не просто с фактами. С картой ее привычек.

— Что вам нужно?

— Чтобы вы встретились с ним.

Комната стала неподвижной.

Люция посмотрела на S так, будто он сказал что-то неприличное вслух при ребенке. Несколько секунд она просто молчала, пытаясь решить, какая реакция будет самой точной: смех, злость, уход, удар, равнодушие. Ни одна, ни уход, ни удар, ни равнодушие. Ни одна не подходила. Все были слишком маленькими.

— Нет, — сказала она наконец.

— Вы даже не спросили, где он.

— Потому что мне все равно.

— Нет.

— Осторожнее.

— Вам не все равно. Вам страшно.

Она взяла бокал, стоявший на столе, и только тогда заметила, что он пустой. Абсурдно. Хотелось сделать глоток, а пить было нечего. Эта мелочь разозлила ее сильнее, чем разговор.

— Вы ничего обо мне не знаете, — сказала она.

— Я знаю достаточно, чтобы понимать, когда вы начинаете играть самую скучную из своих ролей.

— Какую же?

— Женщину, которой все равно.

Люция обошла стол и подошла к окну. За стеклом темнел Париж. Внизу блестела мокрая улица, фары машин тянулись по камню белыми и красными полосами. Где-то там продолжался город, нормальный и равнодушный. Люди ехали ужинать, возвращались домой, покупали сигареты, целовались под навесами кафе, ссорились из-за мелочей. Никто не знал, что на втором этаже особняка женщина в черном платье смотрит на собственное прошлое, как на оружие, оставленное на столе.

— Допустим, я встречусь, — сказала она, не оборачиваясь. — Что дальше? Он получит извинения? Вы — удовлетворение? Нина — закрытый гештальт? Все обнимутся и скажут, что наконец-то правда восторжествовала?

— Вы очень любите презирать то, чего боитесь.

— А вы очень любите говорить очевидности так, будто они стоят дороже, чем ваше пальто.

Он не ответил сразу. Потом сказал:

— Артем болен.

Люция обернулась.

Вот теперь удар пришел без предупреждения.

S стоял там же, у стола, и впервые за все время его спокойствие не выглядело провокацией. Оно было тяжелым. Почти неприятно человеческим.

— Что значит болен?

— То, что обычно значит это слово.

— Не смейте.

— Я не играю этим.

Она подошла к нему так быстро, что расстояние между ними сократилось до опасного. Теперь она чувствовала запах его кожи, легкий, холодный, без сладости. Видела тонкую линию у рта, усталость под глазами, которую раньше не заметила. Он не отступил. Это было мудро и глупо одновременно.

— Если вы врете, — сказала она тихо, — я найду способ сделать вашу жизнь очень неприятной.

— Я знаю.

— Нет. Не знаете.

— Возможно.

Именно это «возможно» почти сбило ее. Люди обычно или защищались, или нападали, или пытались доказать, что не боятся. S не делал ничего из этого. Он не предлагал ей привычной поверхности, о которую можно ударить.

— Что с ним? — спросила она.

— Я не врач. Я не буду пересказывать диагноз в библиотеке после вашей лекции.

— Тогда зачем вы начали?

— Потому что иначе вы бы не слушали.

Она отвернулась, прошла несколько шагов и остановилась у книжного шкафа. Корешки книг расплывались перед глазами: французская философия, альбомы по искусству, какие-то старые издания в коже, аккуратно расставленные как декорация к интеллектуальной жизни. Ей хотелось взять одну книгу и бросить в него. Не потому, что это что-то решило бы. Просто рукам нужно было действие.

— Он сам вас послал?

— Нет.

— Тогда кто вы ему?

— Никто.

— Прекрасно. Значит, вы просто психопат, который решил организовать мне встречу с бывшим женихом, потому что его сестра дала вам старые бумажки.

— Я организовал сегодняшний вечер не для вас.

Она резко повернулась.

— Что?

— Вернее, не только для вас.

Он впервые отвел взгляд — не от слабости, скорее чтобы выбрать точную формулировку.

— Нина попросила меня помочь с благотворительным вечером. Изначально лекция должна была быть другой: искусство, эротизм, власть, что-то достаточно безопасное для людей, которые хотят чувствовать себя глубокими. Ваше имя предложил не я.

— Кто?

— Артем.

Люция рассмеялась. Сухо, без радости.

— Конечно. Теперь в этой истории еще и он режиссер.

— Нет. Если бы он был режиссером, вас бы здесь не было.

— Почему?

— Потому что он не хотел вас видеть.

Эта фраза оказалась неожиданно грубой. Не по форме — по смыслу. Люция была готова к тому, что Артем хочет встречи, прощения, финального разговора, возможно, даже поздней мести. Она не была готова к тому, что он не хотел ее видеть.

Гордость среагировала первой.

— Тогда мы наконец-то в чем-то совпали.

— Не думаю.

— Вы невыносимо самоуверенны.

— Да.

— Обычно люди хотя бы притворяются скромнее.

— Обычно вы выбираете людей, которых легко разоблачить.

Люция посмотрела на него и внезапно поняла, что устала. Не физически, хотя вечер был длинным. Она устала от постоянной необходимости быть точнее, опаснее, быстрее, умнее. Устала от игры, которую сама же и любила. Устала от того, что даже боль внутри нее тут же искала форму, фразу, позу, способ выиграть следующий обмен.

Она села обратно в кресло. Не из слабости. Из отказа продолжать стоять как на дуэли.

— Говорите нормально, — сказала она. — Без загадок. Без ваших маленьких психологических ножей. Кто вы, что происходит, почему у вас мои вещи и при чем здесь Артем?

С тоже сел, но не напротив нее, а немного сбоку, оставив между ними стол и лампу. Это почему-то сделало разговор менее агрессивным.

— Меня зовут Северин.

Люция подняла бровь.

— Разумеется.

— Что?

— Ничего. Просто у мужчин вроде вас не бывает имен вроде Паша или Игорь.

Он посмотрел на нее почти с улыбкой, но та не появилась.

— Я работаю с частными архивами и коллекциями. Не только искусство. Письма, дневники, семейные документы, личные фонды. Нина обратилась ко мне из-за архива их семьи. После болезни Артема она начала разбирать то, что он хранил. Среди этих вещей были ваши тексты, фотографии, письма.

— Я не писала ему писем.

— Нет. Но вы писали рядом с ним.

Люция поняла не сразу. Потом вспомнила. Блокноты. Листы. Обрывки фраз. Черновики, которые она оставляла у него дома, на его столе, в книгах, в сумках, на кухне. Тогда она еще не была дисциплинированной в отношении собственного образа. Тогда мысли просто выпадали из нее, и он иногда собирал их, как собирают засушенные листья между страницами.

— Он хранил это? — спросила она.

— Да.

Вопрос вышел тише, чем она хотела.

— Зачем?

— Это вы должны спросить у него.

Она усмехнулась, но в этом не было прежней остроты.

— Удобно.

— Правдиво.

— А вы почему вмешались?

Северин посмотрел на лампу. Свет ложился на его лицо сбоку, делая его старше и жестче.

— Потому что, разбирая чужие архивы, иногда видишь не документы, а преступление против памяти.

— Как пафосно.

— Да.

— И в чем преступление?

— В том, что вы превратили его в символ, а себя — в легенду. Возможно, у вас было на это право. Но у него тоже было право не остаться в вашей истории просто удобной клеткой, из которой вы красиво вышли.

Люция ничего не ответила.

В этом и была проблема. Возразить было можно. Легко. Она могла бы сказать, что каждый имеет право на свою версию травмы. Что публичный текст не обязан быть архивной точностью. Что женщина не должна вечно учитывать чувства мужчины, от которого ушла. Все это было бы правильно. Все это она сказала бы кому угодно. Но сейчас перед ней лежала фотография, где Артем смотрел на нее не как на символ, не как на функцию, не как на препятствие для ее свободы, а как на женщину, рядом с которой он был счастлив.

И это делало ее версию не ложной.

Неполной.

Иногда неполная правда опаснее лжи. Ложь хотя бы можно разоблачить. Неполная правда продолжает жить, потому что в ней достаточно настоящего, чтобы защищаться.

— Он ненавидит меня? — спросила она неожиданно для себя.

Северин посмотрел на нее внимательно.

— Нет.

— Жаль. Это упростило бы разговор.

— Для вас — да.

Она провела пальцем по краю фотографии.

— Что он хочет?

— Ничего.

— Люди всегда чего-то хотят.

— Он хочет, чтобы его оставили в покое.

— Тогда зачем я здесь?

Северин не ответил сразу. И в этой паузе Люция вдруг почувствовала: сейчас будет не та правда, к которой она готовилась.

— Потому что Нина считает, что у вас есть право знать. И потому что через десять дней в Париже будет закрытый предпоказ его коллекции. Там будут ваши тексты.

Люция медленно подняла голову.

— Какие тексты?

— Те, что он хранил. Черновики. Фрагменты. Заметки. Не все о нем. Не все о вас. Но достаточно, чтобы публика увидела рождение Люции раньше, чем Люция научилась редактировать себя.

Она встала.

— Нет.

— Решение принято не мной.

— Мне плевать, кем оно принято. Это мои тексты.

— Юридически — сложнее.

— Вы сейчас серьезно решили поговорить со мной о юридических нюансах?

— Я говорю не о праве. Я говорю о том, что это уже происходит.

Люция почувствовала настоящую, холодную злость. Не ту, удобную, яркую, которую можно использовать как топливо. Эту — белую, почти бесшумную. Внутри нее очень спокойно поднялась мысль: уничтожить. Не его, не Нину, не Артема. Ситуацию. Выставку. Доступ. Бумаги. Любой ценой.

Вот она — тень. Без лекции. Без красивой формулировки. Без Юнга и мягкого света.

Простое желание вернуть контроль.

— Вы специально подстроили сегодняшнюю сцену, чтобы подготовить меня? — спросила она.

— Да.

Честность была такой прямой, что она на секунду не нашла, куда ударить.

— И как, помогло?

— Вы не убежали.

— Вы принимаете это за успех?

— Для вас — да.

Она рассмеялась. На этот раз громче, почти весело.

— Вы либо очень смелый, либо очень плохо оцениваете риски. Я могу уничтожить эту выставку до предпоказа.

— Можете попробовать.

— Я не пробую.

— Знаю.

Он сказал это без вызова, и именно поэтому фраза прозвучала вызовом.

Люция подошла к столу, собрала фотографию, лист, конверт и положила все в сумку. Движения стали быстрыми, точными. Она снова была в себе. Не полностью, но достаточно.

— Где он?

— Сейчас?

— Да.

— В Париже.

— Я поняла, что не в Бразилии.

— В клинике. Но Нина иногда привозит его домой.

Она остановилась.

Северин добавил:

— Ненадолго. Он отказался от долгого лечения здесь, приехал только на консультации и на предпоказ. Нина настояла.

— И он знает, что я сегодня здесь?

— Да.

— И что я читала лекцию?

— Да.

— Он был в зале?

— Нет.

Люция выдохнула почти незаметно. Облегчение было настолько быстрым, что она тут же возненавидела себя за него.

— Почему?

— Я уже сказал. Он не хотел вас видеть.

— Но хочет выставить мои тексты.

— Он не хотел и этого.

— Тогда кто хотел?

— Нина.

Люция закрыла сумку.

— У вашей Нины очень странное представление о помощи больному брату.

— Она злится.

— На меня?

— На него тоже. На болезнь. На время. На все, что невозможно контролировать. Вы должны понимать.

— Не надо делать из меня вашу коллегу по тени.

— Вы сами сделали это темой вечера.

Она посмотрела на него почти с ненавистью.

— Я не пойду на эту выставку.

— Пойдете.

— Потому что вы так решили?

— Потому что там будет то, что вы не сможете оставить чужим людям.

Люция подошла к двери, но не открыла ее. За ней все еще шумел вечер. Ей нужно было выйти туда, снова стать Люцией, улыбнуться Камилле, принять еще несколько восхищенных взглядов, сесть в машину и уехать. Это был бы правильный маршрут. Привычный. Спасительный.

Но за спиной на столе остался свет лампы. Перед глазами — фотография. В ушах — фраза: «Он не хотел вас видеть».

Это оказалось почти невыносимее, чем если бы хотел.

— Почему S? — спросила она, не оборачиваясь.

— Что?

— Почему вы подписывались S, если вас зовут Северин?

— Потому что полное имя слишком быстро делает человека обычным.
Она медленно обернулась.

Он повторил ее мысль из Лувра. Почти слово в слово. Не из переписки. Не из лекции.
Из нее самой.

— Откуда вы это знаете?

— Вы написали это в одном из старых блокнотов.

Люция несколько секунд смотрела на него, и впервые за весь вечер ей стало по-настоящему неприятно. Не страшно даже. Интимно нарушенно. Он не просто знал факты ее биографии. Он читал ее до того, как она стала стилем. До того, как научилась выбирать, какие мысли можно оставить, а какие нужно сжечь.

— Вы читали мои блокноты?

— Да.

— Все?

— Достаточно.

Она открыла дверь.

— Тогда вы знаете, что я умею быть очень жестокой.

— Нет, — сказал Северин. — Я знаю, что вы очень хотите в это верить.

Она вышла, не хлопнув дверью. Это было единственное, что удалось сохранить от достоинства.

В коридоре ее тут же накрыл шум вечера. Камилла заметила ее первой, шагнула навстречу с улыбкой, но остановилась, увидев лицо. Люция не дала ей возможности спросить.

— Мне нужно ехать.

— Конечно. Машина уже?..

— Сейчас.

— Люция, все было великолепно. Правда. Люди потрясены. Мне уже написали из двух издательств, и месье Лоран хочет...

— Завтра, — сказала Люция.

Одного слова хватило. Камилла кивнула, как кивают люди, которые понимают, что сегодня больше нельзя трогать экспонат руками.

На улице шел мелкий дождь. Не красивый, не кинематографичный, а обычный холодный дождь, от которого портится укладка и блестит асфальт. Машина еще не подошла, и Люция осталась под навесом у входа. Несколько гостей курили неподалеку, смеялись, обсуждали лекцию вполголоса. Кто-то произнес слово «гениально». Кто-то — «слишком лично». Кто-то сказал: «Она опасная женщина».

Люция почти улыбнулась.

Если бы они знали, как мало опасности остается в женщине, когда она стоит под дождем и держит в сумке фотографию человека, от которого когда-то сбежала не потому, что он был жесток, а потому что он был добр.

Телефон завибрировал.

Сообщение было от неизвестного номера.

«Елена?»

Она смотрела на экран, пока буквы не стали почти бессмысленными.

Не Люция.

Не S.

Не Камилла.

Не организаторы.

Елена.

Следующее сообщение пришло через несколько секунд.

«Это Нина. Нам нужно поговорить до предποказа. И до того, как ты решишь все разрушить».

Люция подняла глаза на дождь.

Машина остановилась у тротуара, водитель вышел и открыл дверь.

Она могла не отвечать. Могла уехать в отель, выпить, открыть ноутбук, поднять юристов, связи, угрозы, деньги, репутацию. Могла превратить все в управляемую войну. Это было бы правильно. Это было бы по-люциевски.

Она посмотрела на фотографию в сумке, потом снова на экран.

И набрала:

«Где?»

Ответ пришел почти сразу.

«В его квартире. Завтра в 09:00. Он не знает, что я тебе пишу».

Через секунду — адрес.

Люция прочитала его дважды.

Потом еще раз.

Потому что это был не просто адрес.

Это была та самая квартира, где Артем когда-то сказал ей: «Ты можешь быть любой».

И где она впервые поняла, что быть любой — значит больше нигде прятаться.

Глава 5

В отель Люция вернулась почти в полночь.

Париж за окном машины был мокрым, размытым, слишком красивым для человека, которому хотелось ненавидеть город за декорации. После закрытых вечеров у нее обычно оставалось приятное послевкусие: усталость, шампанское в крови, несколько удачных фраз, которые завтра разлетятся по чужим сторис, и привычное ощущение, что она снова выдержала себя лучше, чем все остальные. Сегодня ничего этого не было. В сумке лежала фотография, старый лист, кремовый конверт с именем Елена и адрес квартиры, куда она не собиралась возвращаться никогда, даже мысленно.

В номере Люция первым делом сняла туфли. Каблуки упали на ковер почти беззвучно, и это почему-то разозлило ее: даже вещам сегодня не хватало драматизма. Она поставила сумку на стол, достала телефон, открыла переписку с Ниной и перечитала адрес. Он был все тот же. Улица, дом, этаж, код от двери. Все слишком конкретно, чтобы спрятаться за красивую неопределенность.

Она могла начать войну сразу. У нее были юристы, репутация, аудитория, деньги, люди, которые с удовольствием поверили бы, что неизвестные коллекционеры и обиженная родственница пытаются использовать ее личную историю ради скандального вечера. Она могла написать пост уже сейчас, не называя имен: о нарушении границ, о женских текстах, которые мужчины продолжают присваивать даже после расставаний, о праве автора уничтожить свои черновики. Пост был бы сильным. Его бы поняли. Его бы поддержали. Его бы цитировали. И в этом была главная опасность: он снова сделал бы ее правой раньше, чем она успела бы узнать, что на самом деле произошло.

Люция налила себе воды, но вместо того, чтобы пить, осталась стоять у стола с бокалом в руке. На кресле лежало черное платье, еще теплое от тела. На зеркале отражалась женщина с чуть размазанной помадой и глазами, в которых усталость не смягчала лицо, а делала его более опасным. Она смотрела на себя и думала, что Люция — гениальная конструкция. Не ложь, нет. Ложь была бы проще. Люция была правдой, доведенной до такой формы, в которой уже невозможно было заметить, что из нее вырезано.

Она открыла сумку и достала фотографию. Артем на ней улыбался так, будто не знал, что через час станет частью чужой легенды. Молодой, живой, доверчиво счастливый. Рядом с ним Елена выглядела непривычно мягкой. Не слабой — нет, она никогда не была слабой в прямом смысле. Скорее незащищенной от возможности быть счастливой. Люция долго смотрела на это лицо и пыталась найти в нем себя, но получалось наоборот: она находила в себе ее, и это было хуже.

В два часа ночи она все-таки открыла ноутбук. Не для поста. Для проверки. Сначала нашла сайт галереи, потом страницу будущей экспозиции. Закрытый предпоказ через десять дней, официальное открытие через две недели. Название: «Persona: частные тексты, маски и рождение публичного образа». Куратор — Нина Орлова. Консультант по архивам — Северин Моро. В описании говорилось о женских дневниках, авторских черновиках, эротическом письме, самоконструировании и границе между личным документом и художественным жестом. Имя Люции не упоминалось. Имя Елены тоже. Пока.

Она прочитала описание дважды, потом третий раз, все внимательнее. Там не было прямой кражи, не было явного шантажа, не было грубого нарушения, за которое можно было бы сразу ухватиться зубами. Все было сделано умно, почти стерильно. «Материалы частного архива». «Фрагменты публикуются с согласия владельца коллекции». «Часть документов анонимизирована». «Экспозиция исследует не биографию, а процесс формирования публичной персоны». Прекрасно. Они даже оскорбляли ее интеллектуально.

Люция закрыла ноутбук и рассмеялась. Тихо, сухо, почти безумно для пустого гостиничного номера. Вся ее жизнь строилась на том, что она брала личное и превращала в материал. Теперь кто-то делал с ней то же самое — аккуратно, дорого, с хорошим шрифтом и кураторским текстом. Возмущение было законным, но слишком удобным. Где-то под ним шевелилось более неприятное чувство: узнавание.

Она легла только под утро, но не уснула. Просто лежала на спине, глядя в потолок, пока за окнами серый Париж становился светлее. Несколько раз рука сама тянулась к телефону, чтобы написать Нине: «Я не приду». Несколько раз она уже почти набирала сообщение Северину: «Вы получите иск». Но всякий раз стирала. Ночь странным образом возвращала ей не импульсивность, а холодное ожидание. Если уж идти в эту комнату, нужно сначала увидеть стены.

В восемь утра она была готова. Черные брюки, молочная рубашка, длинное темное пальто, волосы гладко убраны, макияж легче, чем вечером, но красная помада на месте. Без нее лицо казалось слишком доступным для вопросов. На завтрак она не пошла. Выпила кофе в номере, выкурила половину сигареты у приоткрытого окна и вызвала машину.

Квартира Артема находилась в старом доме на левом берегу. Люция помнила этот подъезд слишком хорошо, хотя пыталась убедить себя, что память преувеличивает. Тяжелая дверь с кодовым замком, каменная лестница, запах холодного дерева и старой краски, узкие окна на площадках. Когда-то она поднималась здесь легко, почти бегом, с бутылкой вина, книгой или собственной невозможной уверенностью, что ничто не может закончиться, пока она сама не решит. Теперь каждый пролет был похож на возвращение в тело, из которого она когда-то сбежала.

Нина открыла дверь до того, как Люция успела позвонить второй раз.

Она почти не изменилась. Стала старше, суше, жестче в лице, но глаза остались те же: внимательные, безжалостно трезвые. В юности Нина казалась девочкой, которая слишком много видит и слишком мало умеет скрывать. Теперь это превратилось в профессию лица. На ней были джинсы, темно-синий свитер и собранные на затылке волосы. Никакой театральной, никакой траурной красоты, никакой попытки соответствовать значимости момента. Это сразу раздражало.

— Ты пришла, — сказала Нина.

— Ты очень плохо начала разговор, если хотела, чтобы я осталась.

— Я не хотела, чтобы ты осталась. Я хотела, чтобы ты пришла.

Они несколько секунд смотрели друг на друга в дверях. Люция могла бы отметить вслух, что Нина до сих пор не умеет здороваться, но это было бы слишком легко. Вместо этого она вошла.

Квартира почти не изменилась, и именно это оказалось первым ударом. Высокие потолки, книжные полки в гостиной, старый паркет, окна во внутренний двор, круглый стол у кухни, на котором когда-то всегда лежали фрукты, потому что Артем считал, что дом без фруктов выглядит временным. Теперь на столе стояли коробки, папки, несколько стопок бумаг и ноутбук. Воздух пах пылью, кофе и чем-то медицинским, едва уловимым, как чужая слабость, которую пытались проветрить.

Люция остановилась у порога гостиной. На стене все еще висела фотография моря — не дорогая, не особенно художественная, просто черно-белый снимок с пустым пляжем и маленькой фигурой человека у воды. Артем купил ее на каком-то блошином рынке, потому что сказал, что это «самая честная картинка одиночества». Она тогда рассмеялась и спросила, почему он вешает одиночество в гостиной. Он ответил: «Чтобы оно не пряталось по углам».

Она ненавидела, что помнит это.

— Кофе? — спросила Нина.

— Нет.

— Сигарету можешь курить у окна. Он теперь все равно почти не чувствует запахов.

Люция медленно повернулась к ней.

— Ты специально?

— Что?

— Говоришь так, будто бросаешь мелкие камни и смотришь, какой попадет.

Нина прошла к столу и взяла кружку. Руки у нее были спокойные, но под глазами лежали темные тени. Ночь для нее, вероятно, тоже была не лучшей.

— Я не умею так изящно, как ты, — сказала она. — У меня все еще по-деревенски: если я злюсь, это заметно.

— На что именно ты злишься, Нина? На то, что я ушла? Прошло много лет. Даже для семейной верности это немного затянувшаяся реакция.

Нина посмотрела на нее почти с интересом.

— Ты правда думаешь, что все до сих пор только об этом?

— Судя по тому, что ты вытащила мои старые тексты и решила превратить их в экспозицию, у тебя тоже есть сложности с отпусканием.

— Это не твои тексты.

Люция улыбнулась.

— Прекрасно. Начинаем сразу с безумия.

— Это не только твои тексты, — уточнила Нина. — Вот так точнее.

Она открыла одну из коробок и достала папку. На корешке было написано: «Е. / 2016—2018». Не «Люция». Не «материалы». Просто буква и даты. Люция почувствовала раздражение от того, как аккуратно это было подписано. Чужая бережность к ее прошлому казалась почти оскорбительной.

— Артем хранил это как часть своего архива, — сказала Нина. — Не для выставки. Не для публикации. Просто хранил. У него вообще странная способность не выбрасывать то, что остальные считают мусором. Билеты, записки, салфетки с фразами, засушенные листья, открытки из музеев. После диагноза он начал разбирать вещи. Что-то отдавал, что-то уничтожал, что-то подписывал. Эти папки он хотел вернуть тебе.

— Как благородно. Почему не вернул?

— Потому что не хотел тебя видеть.

Фраза была та же, что у Северина, но из уст Нины прозвучала больнее. Возможно, потому что в ней не было стратегии. Только факт.

Люция сняла пальто и положила его на спинку стула. Движение помогло выиграть секунду.

— Но ты решила, что знаешь лучше.

— Да.

— И теперь хочешь устроить выставку из того, что он хотел вернуть?

— Я хочу показать не тебя. И не его. Я хочу показать, как создается миф, когда два человека переживают одно и то же, а публичной становится только версия того, кто умеет писать красиво.

Люция тихо рассмеялась.

— Какая трогательная забота об исторической справедливости.

— Не надо, — сказала Нина.

Голос был негромкий, но в нем что-то изменилось. Люция посмотрела внимательнее.

— Не надо делать вид, что это просто моя зависть, семейная обида или желание отомстить тебе за брата. Это тоже есть, конечно. Я не святая. Когда твой пост разлетелся, я хотела написать под ним: «Он не был клеткой, ты просто испугалась». Я писала это раз двадцать и удаляла. Потом перестала читать тебя. Потом все равно читала. Потом ненавидела себя за то, что иногда была с тобой согласна.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.